



МИЛЕНКО ЕРГОВИЧ

РУФЬ ТАННЕНБАУМ

Издательство
Ивана Лимбаха

Миленко Ергович
Руфь Танненбаум

«Издательство Ивана Лимбаха»

2022

УДК 821.163.42-31«20» = 161.1 = 03.163.42
ББК 84.3 (4Хор) 64-44-021/83.3

Ергович М.

Руфь Танненбаум / М. Ергович — «Издательство Ивана Лимбаха», 2022

ISBN 978-5-89059-451-8

Роман известного хорватского писателя Миленко Ерговича (р. 1966) освещает жизнь и состояние общества в Югославии в период между двумя мировыми войнами. Прототип главной героини романа – актриса-вундеркинд Лея Дойч, жившая в Загребе и ставшая жертвой Холокоста в возрасте 15 лет. Она была депортирована в концлагерь, где и погибла. Однако ее короткая жизнь была в полном смысле слова жизнью театральной звезды. Роман о трагической судьбе Руфи Танненбаум, написанный Ерговичем, вызвал полемику: судьба хорватских евреев во время Второй мировой войны до сих пор остается болезненной темой и для евреев, и для хорватов. Миленко Ергович родился и вырос в Сараеве, прожил там и первый год Боснийской войны (1992), когда город оказался осажден. В 1993 году Ергович переехал в Загреб. За роман «Руфь Танненбаум» автор был награжден литературной премией имени Меши Селимовича (2007). Кроме того, он получил целый ряд наград и премий за другие свои романы и сборники рассказов.

УДК 821.163.42-31«20» = 161.1 = 03.163.42

ББК 84.3 (4Хор) 64-44-021/83.3

ISBN 978-5-89059-451-8

© Ергович М., 2022

© Издательство Ивана Лимбаха, 2022

Содержание

I	6
II	12
III	16
IV	17
V	22
VI	29
VII	31
VIII	36
IX	41
X	45
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Миленко Ергович Руфь Танненбаум

© М. Jergović, 2022

© Лариса Савельева, перевод, 2022

© Клим Гречка, дизайн обложки, 2022

© Издательство Ивана Лимбаха, 2022

Весной 1943-го с принцессой, что жила на улице Гундулича, – номер дома значения не имеет – произошло чудо: она с помощью Бога, неизвестно какой он был и чей, превратилась в невидимку.

Такие тогда были времена: принцессы не могли пожелать себе ничего большего, чем стать невидимыми. А какое нужно высокомерие, чтобы пожелать такого, можно и не напоминать.

Что до высокомерия, то тут, на улице Гундулича, Руфи Танненбаум не было равных.

Потолки в квартире были высотой четыре метра, их застилали облака табачного дыма. Папа курил перед тем, как его отправили в долгую дорогу. Мама курила перед тем, как ее отправили в долгую дорогу. Даже дед курил – его, правда, никуда не отправили, он умер до начала путешествия.

Руфи Танненбаум исполнилось пятнадцать, и она не была виновата в облаках дыма под потолком. Но потом она шесть месяцев жила под ними, одна, ей было страшно, и поэтому она захотела стать невидимой.

Ух, какой же высокомерной она была!

Когда к ней пришли, чтобы и ее отправить в дальнюю дорогу, от Руфи Танненбаум осталась только правая ступня. Все остальное было невидимым.

Но и этого достаточно, вполне даже достаточно, сказали те люди, из бюро путешествий, и повели правую ступню Руфи Танненбаум на грузовые пути железнодорожного вокзала. Под белым платьем принцессы отмеряла шаги маленькая босая ступня.

Уверяю вас, это надо было видеть.

Ее затолкали в вагон для скота. Поедем в Индию, подумала Руфь Танненбаум, туда, где коровы – священные животные. Она почувствовала влажный коровий язык, который слизывает соль с ее правой ступни. Тут она засмеялась – в последний раз.

Она была высокомерной и не особенно умной, эта принцесса, потому что кто бы весной 1943 года мог подумать о поездке в Индию.

Нет, состав направлялся в Польшу. Было мрачно, стояла вонь, так что невидимость не очень-то помогала от страха. Кроме того, что может значить для принцессы невидимость, заполняющая белое платье, если все видят ее маленькую правую ступню.

Мы могли бы сказать, что так она и жила до самой смерти. И это не было бы ошибкой. Руфь Танненбаум не добралась до Индии, а точнее, до Польши. Она исчезла где-то в дороге, представляя себе влажный коровий язык, который лизет ее правую ступню.

Как же все-таки высокомерна была эта принцесса!

Посмотри на то платье, может, она все еще в нем. Где же спряталась правая ступня Руфи?

I

Год 1920-й, Соломон Танненбаум сидит в ресторане «К императору австрийскому», который уже целых два года называется не так, однако никто из завсегдатаев, в том числе и Соломон Танненбаум, не скажет, что это «Три оленя», каково теперь по решению городских властей его официальное имя. Нет, Соломон бросит свою шляпу через весь зал, она, как всегда, попадет точно на вешалку, и он воскликнет: «Прибыл Мони, к императору австрийскому!» – а сидящие пьянчуги ответят: «Да хранит его наш добрый Бог!» И потом начнется еще одна долгая послеполуденная пьянка, какие в этом заведении происходят с той поры, как армия короля Петра освободила Загреб. Пьют не затем, чтобы что-то отметить, – пьют потому, что у них нет более разумного занятия. Как будто они чего-то ждут, но никто не знает, чего именно.

В тот день, когда он швырнул шляпу и воскликнул: «Прибыл Мони, к императору австрийскому!», – никто не ответил Соломону Танненбауму, все молчали, уставившись каждый в свою рюмку или в свою кружку, как будто Соломона здесь нет, как будто он не вошел в ресторанчик и не сидит сейчас за своим столом, не грызет корешок хрена, не пьет македонскую мастику и не приглашает их, таких глухих и слепых, сесть за его стол.

– Люди, да что с вами сегодня?

Почти тут же к нему подошли двое: тот, что повыше и с усами, потребовал предъявить документы, а другой, помельче, посерее и слегка похожий на педика, вмазал Соломону Танненбауму по лицу, да так, что тот даже не успел залезть в карман. Он не спросил, почему его бьют, – ни тогда, ни позже, в подвалах полиции, когда эта же пара профессионально и слаженно обрабатывала его ступни деревянными палками, а он вопил во весь голос и звал на помощь. Но краешком рассудка все время думал: хорошо, что стены такие толстые и никто его не услышит, и он не осрамится перед знакомыми, и может стенать и выть сколько угодно. Никто ему потом не поверил, что он не знал, за что его избивают.

Э-эх, Соломон, Соломон, не дал тебе Бог ума, даже столько, сколько у бедняка в каше шафрана!

Одни говорят, что его выпустили спустя пять дней, другие – что все это домыслы и что Соломон Танненбаум вышел из подвалов на Зриневце уже наутро, а расспрашивать его о том, что из этого правда, было бессмысленно, потому что он ничего не помнил и потом месяцами слонялся по Загребу, как помешанный, делая вид, что никого не узнает. Неважно, лупцевали его пять дней или только одну ночь, но сделали они это так профессионально и слаженно, что с его ступней слезла вся кожа. Наконец-то оказалось полезным, что он в свое время научился ходить на руках. По-другому в тот день Соломон Танненбаум не смог бы вернуться домой, на улицу Гундулича.

И пока он так лежал, несчастный, жалкий и перепуганный на три жизни вперед, он не смог увидеть то, что как раз тогда происходило на вокзале и что напрямую было связано с его арестом. Он не смог увидеть, как под звуки трех национальных гимнов¹ на первый перрон прибыл поезд из трех вагонов и в нем – престолонаследник недавно возникшего королевства² Александр, сопровождаемый охраной, адъютантами, адмиралами и разными высокими чинами, предводителями национальных общин и другими лидерами молодого государства, а всю эту пеструю толпу, и в строгой форме, и принарядившуюся, встречает с глазами, полными слез, и с заранее написанной речью во вспотевшей руке хорватский бан³ Матко Лагиня. И пока король выходил из поезда, перепуганный бан Лагиня дрожал под весенним солнцем, с ужасом

¹ Имеются в виду югославский, сербский и хорватский. *Здесь и далее примечания переводчика.*

² Речь идет о Королевстве Югославия, так официально называлось это государство в 1929–1941 гг.

³ Правитель области у южных славян и венгров, назначаемый королем.

увидев, что чернила расплылись по его рукам и рука, которую он должен протянуть славному королевичу, испачкана и недостойна рукопожатия. Оказавшись перед Александром, Лагиня потерял дар речи. Он смотрел на будущего короля так, будто смотрит в лицо смерти. Неприятную ситуацию, почти сравнимую с избиением ступней Соломона, спасла жена бана, женщина решительная и предприимчивая. Она оттеснила Лагиню в сторону и так обратилась к королевичу:

– Ваше высочество! Мы не предлагаем вам хлеб и соль – ведь вы приехали домой!

Благодаря этим словам, правда слегка приукрашенным в соответствии с требованиями государственного протокола и без упоминания неприятной ситуации, в которой оказался ее муж, жена бана вошла во все школьные учебники, а фраза о доме Александра еще несколько десятилетий оставалась единицей измерения югославского патриотизма хорватского рода и племени и его престольного города Загреба.

Что же до Соломона Танненбаума, ему больше никогда и в голову не приходило упоминать императора австрийского, даже в названии ресторанчика, который к тому же вскоре закрылся, а на его месте появилась лавка скобяных товаров, потому что и другие посетители никак не могли привыкнуть к новым именам, и всякий раз, когда в Загреб прибывала важная персона – королевский уполномоченный или офицер высокого ранга, – кто-то из пьянчуг получал за императора австрийского палками по ступням.

С тех пор Соломон Танненбаум никогда не геройствовал, а если и бросал свою шляпу в сторону вешалки, то старался промахнуться хотя бы раз из трех попыток.

Восемь лет спустя, дело было летом, длинная колонна поднималась к Мирогою⁴, следуя за гробом с телом народного вождя Стиепана Радича. Вокруг было полно жандармов, полицейских в штатском и всяких шпигов, для которых здесь имелась хорошая возможность продвинуться по службе. Все они бдительно следили, не выскочит ли из колонны какой-нибудь революционер с выкриками против короля и королевы, но ничего такого не происходило, и было скучно, по крайней мере, если смотреть на вещи с точки зрения полицейских. Слышались только всхлипывания и рыдания да медленный топот тысяч резиновых, кожаных, деревянных подошв, который, если закрыть глаза, звучал страшнее, чем ругательства в королевский адрес и призывы к разрушению государства и порядка, потому что, как показалось бы человеку с закрытыми глазами или слепому, этих людей, пришедших на похороны, здесь миллионы, и в каждом их шаге слышны лишь отчаяние, гнев, ненависть и жажда мести.

Непонятно, по каким делам именно в это время рядом с мирогойскими воротами оказался Соломон Танненбаум, но только пока он там стоял и смотрел то на шпигов и жандармов, то на скорбящую колонну, в его душе боролись разные чувства. Когда он видел массу людей, слышал топот тысяч подошв и чувствовал страх от этих звуков, его сердце было на стороне шпигов и жандармов, но стоило ему заглянуть им в глаза, полные той особой ненависти, от которой трещат кости и стынет кровь в жилах, Соломон Танненбаум превращался в одного из крестьян Лики или Славонии, скорбящих по своему мертвому вождю и собирающих храбрость в стиснутых кулаках. Это неясное чувство останется у него до конца, оно станет его нечистой совестью. По своим собственным ощущениям, Соломон Танненбаум всегда оказывался на неправильной стороне.

Через несколько недель после похорон народного вождя Соломон Танненбаум решил посвататься к Ивке Зингер, дочери торговца колониальными товарами с Месничкой улицы. Ивка была мелкой сдачей с крупной торговли. Ей уже за тридцать, и она так и осталась бы незамужней, не будь Соломона. А ведь не скажешь, что она была непривлекательной. Невысокая и худощавая, светлокожая, с волосами черными, как самая черная ночь, – точно капля

⁴ Центральное кладбище Загреба.

испанской крови на асфальте Илицы⁵. У нее были самые большие глаза из всех, какие когда бы то ни было смотрели на Загреб. В эти глаза мужчины влюблялись, женщины их высмеивали, а дети почему-то боялись. Они являлись им во снах, были источником детских кошмаров, так что для поколения, родившегося в двадцатые годы в районе Илицы, глаза Ивки Зингер навсегда остались символом страха и ужаса. Но вовсе не детские страхи были причиной того, что она долго не выходила замуж. Нет, как раз наоборот: жениться на Ивке не удавалось из-за того, что ее глаза невероятно сильно привлекали взрослых мужчин, и старый Авраам Зингер никак не мог выбрать из них для дочери самого лучшего мужа.

Слишком длинным был бы список всех, кто сватался к Ивке Зингер, но некоторых помнили долго, до тех пор пока не осталось в живых никого из Зингеров и Танненбаумов или из их знакомых, которые с чистым сердцем и радостью перемывали им косточки. Ивке едва исполнилось пятнадцать, когда свататься к ней приехал дубровницкий торговец Мошо Бенхабиб, с которым ее отец занимался торговлей целых сорок лет, так что можно было сказать, что они сделали своего рода друзьями. У Мошо дома в Дубровнике и Флоренции, земли в Венгрии, Словении и Банате, а богат он так, как никогда никто из Зингеров богат не будет. Когда-то давно он был женат, но то были годы молодости, годы силы и гордыни, так что Мошо почти и не заметил, что его Рикица испустила дух. После нее он не женился: настолько был занят своими делами, что не хватило на это времени, однако когда он понял – правда, слишком поздно, – что стар, что ему почти восемьдесят, то захотел иметь рядом кого-то, кто проводит его в последний путь, предварительно родив наследника.

– Жить мне осталось всего ничего, молодую долго мучить не буду, а богатство ей оставлю такое, что потом она сможет взять себе хоть абиссинского принца, – сказал он Аврааму Зингеру.

Отец в ту ночь долго не мог заснуть. Следующей ночью тоже. Семь дней и семь ночей не спал Авраам Зингер, а потом отправился к Мошо и сказал ему, что Ивка не для него. Тот принял это спокойно.

– Я бы и сам не отдал своего ребенка за старика, – сказал он Зингеру, – и я на тебянисколько не сержусь, я только хочу, чтобы ни ты, ни твоя красивая дочь никогда не пожалели, что она за меня не пошла.

Трудно угадать, когда Авраам в первый раз пожалел, что не отдал Ивку за Мошо Бенхабиба: то ли уже через месяц, когда Мошо неожиданно умер в Дубровнике и все его состояние, ввиду отсутствия у него родни и завещания, отошло государству, то ли позже, когда в его дверь начали стучать куда менее состоятельные женихи.

Мошо Бенхабиб был горьким воспоминанием в доме Зингеров, поэтому его даже в шутку не вспоминали в военные и послевоенные годы, когда рушилась одна и создавалась другая империя, когда нечего было есть, свирепствовала испанка, повсюду умирали и погибали от болезней и от избытка здоровья, а хуже всего то, что никуда нельзя было уехать, сбежать, скрыться, потому что денег не хватало даже на билет на пароход в третьем классе.

Э-эх, Мошо, Мошо, что ж ты не умер на год-другой раньше, пока не явился к ней свататься, или не прожил еще десяток лет, чтобы мы не горевали о твоём богатстве!

Первым, кто посватался к Ивке после войны, был майор королевской военной санитарной службы Исмаэл Данон, родом из Белграда, обходительный, с хорошими манерами, но старый Зингер отверг и его: майор, по его мнению, был слишком шумным и, возможно, не столь уж и обходительным, коль скоро оказался таким громогласным.

Может быть, он только притворяется, может, как только получит Ивкину руку, покажет свое истинное – мужицкое сербское – лицо. В то время Зингеру совсем не импонировали все эти освободители и объединители, которые заполнили Загреб и грязью со своих сапог

⁵ Главная улица Загреба.

загадили улицы. Все были напуганы, боялись, что в результате объединений и освобождений может воцариться какое-то, пока еще неясно какое, но вполне реальное и страшное зло. Он дал майору Данону от ворот поворот, перетерпел Ивкины слезы, потому что девчонка по уши влюбилась в красавчика серба, а когда все осталось позади, когда майор с разбитым сердцем попросил и получил перевод в Скопле, Авраам Зингер случайно узнал от каких-то проходимцев, которые во время войны были шпионами, почему Исмаэль Данон столь громогласен. Во время одного из знаменитых сражений при Каймакчалане и Салониках⁶ рядом с ним взорвалась граната, и он полностью оглох на одно ухо, а другим почти перестал слышать, вот и стал говорить так громко, чтобы слышать хоть самого себя. Так что ж он мне об этом не сказал, бесновался старый Авраам, почему заставил думать, что я должен отдать свою дочь за деревенщину и скандалиста, прорычал он и от ярости случайно перевернул большой деревянный ящик с апельсинами, и они раскатились по полу его лавки, под ноги четверым проходимцам и шпионам, тем подлецам, которые четыре года выслеживали по Загребу и его окрестностям вооруженных дезертиров⁷, а теперь стали главными в городе сторонниками сербской династии Карагеоргиевичей.

– Не рассчитывайте, что я вам заплачу, – рявкнул на них Зингер, – пусть даже вы подожжете мою лавку и разобьете витрину!

Они ушли, приунывшие и посрамленные, выслеживать и доносить кому-нибудь другому, и, вероятно, им было странно слышать насчет поджога лавки и битья витрины. Для таких дел время еще не настало, и никому, кроме как старому Аврааму Зингеру, не приходило в голову, что оно может настать. Да и он, не поймите превратно, не был никаким пророком; просто у него были слабые нервы, иногда он впадал в такое бешенство, будто оказался во власти морфина, и тогда ему являлись сцены, которые никто кроме него не видел. Бог его знает, от какой бабки Авраам Зингер унаследовал это безумие и истеричность, но что с ним такое случается, было широко известно.

Через год или два после инцидента с тугоухим майором среди сватавшихся, чьи имена и судьбы давно стерлись и выветрились у всех из памяти, на пороге Зингеров появился Эмиль Крешевляк, молодой человек чуть старше тридцати, которого Авраам знал потому, что тот, уже тогда рукоположенный в священники, приходил к нему как-то раз с заказом на семь сотен одинаковых пакетиков с засахаренными фруктами и мармеладом из айвы для какого-то сиротского дома в Боснии. Авраам потратил три дня, чтобы собрать эти пакетики, после чего преподобный Крешевляк потребовал все их вскрыть и принялся рассматривать и взвешивать, сколько в каждом мармелада и сколько фруктов, чтобы не получилось, что кому-то из детей достанется подарок меньше, чем остальным. В этом его стремлении к справедливости было что-то мрачное, труднообъяснимое, что Зингер позже описывал как большое зло, состоящее из одних только благодеяний. Еще три дня потребовалось Аврааму, чтобы под строгим контролем преподобного наполнить каждый пакетик так, чтобы ни в одном из них не было ни на одну засахаренную ягоду малины больше, чем в любом другом.

И вот теперь, спустя несколько лет, Эмиль Крешевляк стоял перед Авраамом Зингером в костюме парижского покроя, сшитом из чистого шелка, с платочком в нагрудном кармане и бриллиантовой булавкой в галстук, весь благоухающий туалетной водой, и перечислял причины, по которым старик должен отдать ему свою дочь. Делал он это так же педантично, как в свое время взвешивал фрукты и отмерял мармелад из айвы. А Зингер делал вид, что слушает его как зачарованный, хотя наперед знал, что к такому человеку он Ивку не отпустит, даже если это последний мужчина и последний жених на свете.

⁶ Речь идет о сражениях с болгарями – предмете особой гордости сербов во время Первой мировой войны.

⁷ Имеются в виду дезертиры из австро-венгерской армии во время Первой мировой войны.

Эмиль Крешевляк гордился своим священническим призванием. Оно на всю жизнь наделяет человека не только чувством ответственности, но и любовью к порядку. Бог любит точных и аккуратных – это первое, чему учат в семинарии. А то, что он оставил служение, – его личное дело, других оно не касается, даже самых близких. Тайна, которая побуждает человека стать священником, – та же, что возвращает его обратно, чтобы он снова стал овечкой в стаде, мудрствовал Крешевляк и расставлял сети вокруг красавицы Ивки Зингер.

Он видел ее и раньше, греховно поглядывал на нее еще с того раза, когда пришел за пакетиками для сиротского дома.

Как только он в этом признался, внутри Авраама Зингера словно разлился сок какого-то горького фрукта. Но он ничего не сказал, даже не поморщился, как морщатся страдающие желудком болезненно раздражительные люди, когда их по весне и по осени беспокоят хронические язвы. Если бы существовала справедливость, то он бы этого расстригу, гнусавого что твой епископ и мягкого, как бисквит, немедленно вышвырнул из дома, чтобы тот не вздумал возвращаться, чтобы смыть его образ и из мыслей, и из глаз так же, как светлая душа смывает тяжелый ночной сон, но справедливости нет, да ее отродясь и не было в этом городе, потому что его жители никогда не говорят того, что действительно думают, и из-за этого случаются все их беды. А откуда возьмется справедливость для какого-то Авраама, еврейского мошенника, как сказала бы пьяная Роза, если бы он после тридцати лет кредита не дал ей в долг, который она никогда не возвращает, ежедневную литровую бутылку вина. Поэтому старик Зингер не вышвырнул за дверь Эмиля Крешевляка, когда тот признался ему, что еще будучи попом поглядывал на Ивку, девочку, от которой отец только-только отвадил двух-трех женихов, – нет, он дал ему перечислить все причины, по которым следовало бы отдать ему ее руку.

– Тяжелые времена, господин Зингер, – вздыхал Крешевляк, – тяжелые, тяжелые, очень тяжелые. А будут еще тяжелей, – подпрыгнул он, как петушок, и тут же запричитал, – особенно для тех, кто остался за спиной у Христа, а вы, господин Зингер, к собственной чести и к чести вашей семьи, человек добрый, но вы знаете, как сейчас пошли дела: люди голодают, сироты на каждом шагу, а при таких обстоятельствах в первую очередь страдают именно такие люди, как вы. Вам следует защитить себя, господин Зингер, сейчас у вас есть шанс: я в Ивку влюбился, и никто другой меня не интересует, из-за нее я отказался от обетов священника. Если вы позволите ей выйти за меня, то и сами предстанете перед очами нашего Господа, и никто больше не спросит вас, кто вы такой и какой вы веры. Отдадите мне Ивкицу – станете свободным человеком.

Старый Авраам выслушал Эмиля Крешевляка, пригласил его на обед и посадил за воскресным столом рядом с Ивкой, но ее руки ему не отдал.

– Мы можем остаться друзьями, – сказал он в середине обеда, – но она не для вас.

Крешевляк подавился куриным крылышком, закашлялся, хотел что-то сказать, но Зингер наклонился к столу и взял его за руку:

– Куриная кость иногда бывает опаснее рыбьей. Не хотелось бы мне иметь такой грех на душе.

Вскоре после того как он отверг расстригу, появился новый жених, студент Хаим Абеатар. Авраам спросил о его семье, и тот ответил, что его отец и мать умерли, близких родственников у него нет, а с дальними он разорвал все связи. И никакого имущества у него нет, только стипендия от одного еврейского общества из Сараева, и она поступает к нему регулярно, так что никому не пришлось бы о нем заботиться до тех пор, пока он не закончит учебу и не найдет работу.

– А почему ты считаешь, что я позволю своей дочери пойти за тебя? – спросил Зингер.

– Потому что ей уже пора замуж, – пожал плечами парень.

Его Авраам запомнил из-за того, что он единственный ничего не обещал и ничего не требовал. Хаим был бледным, с неопределенными чертами лица, сутулым, ни низким, ни высо-

ким, таким, что легко забывался, и таким, что никому, кроме того общества, которое высылало ему стипендию, не мог быть ни малейшей обузой.

Кто знает, может, он и был человеком, предназначенным дочери Авраама.

А потом долго не было никого, соседи даже принялись обсуждать, что же не так с Ивкой Зингер, из-за чего она не вышла замуж; вот тут и появился Соломон Танненбаум.

II

В то время как над головой плясала свадьба господина Мони и его красавицы госпожи Ивки, Амалия Моринь, жена Радослава Мориня, стрелочника железнодорожной станции Новска, меняла компрессы на лбу и груди их единственного сына Антуна.

У мальчика уже четвертый день был жар, мать не понимала, что с ним, отец на вахте, и до понедельника он не вернется. У нее не было денег на врача, точнее, их не было ни на что, потому что денег ей муж никогда не оставлял. Продукты она брала в кредит в лавке господина Штука, а долг ему Радослав возвращал два раза в месяц. Оставлять деньги Амалии было нельзя, потому что все полученное сегодня она сегодня бы и потратила, неважно на что и по какой цене. Завтра было для Амалии далеко-далеко, про завтра она не могла думать; когда все-таки приходилось или когда ее вынуждало сделать это тяжелое и бессловесное отчаяние Радослава, она совершенно терялась, у нее начиналась истерика со слезами и криками, от которых с верхних этажей, из соседских окон и с балконов падали на тротуар горшки с фиалками; истерика, которая могла продлиться и десяток дней, и тогда с Каптола⁸ приходили сестры-францисканки, чтобы присматривать за ней, ухаживать и привязывать к кровати. Поэтому при Амалии лучше было не упоминать никакого завтра и не оставлять никаких денег.

В первый день Антун говорил, что у него болит живот, на второй у него заболела голова, а на третий он уже и не говорил, а становился все горячее и горячее, превращался в вулкан, в маленький Везувий, над которым плясала еврейская свадьба. Амалия, может быть, и пошла бы просить их, чтоб были немного тише – ребенок болен, но как господину Мони портить праздник, ведь господин Мони такой хороший и всегда поможет соседям, невзирая на то, кто какой веры. Стоило Антуну застонать и попытаться издать звуки, из которых нельзя было понять ни слова, – бедный сынок! – Амалия начинала проклинать евреев, вечно поганое их семя, но когда ребенок, этот ангел Божий, вера и надежда материнская, замолкал и погружался в спокойный и тихий сон, Амалия думала, что ей, грешнице, в аду гореть из-за того, что плохое подумала и пожелала тем, от кого ничего кроме добра не видела, господину Мони и его госпоже Ивке, которая, может быть, даже и не еврейка, так же как, возможно, и он не еврей, потому как откуда ей, убогой деревенской женщине из Лики, знать и судить, кто еврей, а кто нет, и кто вообще мог обладать такими знаниями, кроме настоятеля, епископа и нашего дорогого Господа Бога.

А потом Антун снова начинал плакать, и Амалия, сложив ладони, говорила:

– Ногтями бы ему печенку разорвала, ему, кто распял сына Господнего!

Но в какой-то момент Антун вдруг совершенно успокоился. Безучастный и тихий, даже слишком тихий для живого человека, он превратился в растерянность матери и потом в короткий крик – от него вдоль всей улицы Гундулича, от Ботанического сада до самой Илицы, горшки с фиалками попадали на тротуар и разбились у ног оторопевших граждан и матерящихся и озлобленных жандармов, которые сочли все это какой-то диверсией, организованной профсоюзами.

Торжественный пир Соломона Танненбаума продолжался еще некоторое время. А потом перед домом собрались люди в черном, молчаливые мужчины с длинными закрученными усами, от них пахло ракией, чесноком и гнилыми грушами, а потом, после них, пришли сестры-францисканки, успокаивать и утихомиривать Амалию Моринь, а потом, во второй половине дня, появился и отец, Радослав, в форме железнодорожника, с фуражкой на голове. Из Новской его привез тамошний начальник станции, но правды о том, куда и почему они едут, не сказал. Радослав Моринь, стрелочник, родом из Зеленики, решил, что начальство наконец-то услышало его давнишнюю просьбу о переводе на другое место работы, и теперь радовался, и

⁸ Район в центре Загреба, где находятся несколько церквей и монастырей, а также резиденция епископа.

всю дорогу поправлял воротничок, и ругал Амалию за то, что она перед дежурством не постирала ему еще одну рубашку, потому что как же он, такой грязный и неаккуратный, предстанет сейчас перед членами правления железных дорог. Только когда начальник станции повел его от Центрального вокзала совсем в другую сторону и когда они свернули на улицу Гундулича, Радослава охватило плохое предчувствие.

– Неужели Амалия пролила на ноги кипяток?

– Не знаю, – ответил начальник станции в Новской, некий Ахмо Хуседжинович, родом из Баня-Луки.

– Я ей сто раз говорил быть осторожной, когда снимаешь воду с огня. Обвариться кипятком еще хуже, чем горячим маслом, ведь так?

– Ей-богу, не знаю.

– Я – знаю!

– ...

– А вдруг она ножом порезала руку, там, где вена?

– Не знаю.

– Не знаете или боитесь сказать, что случилось на самом деле?

Начальник станции молчал, отводил взгляд от лица стрелочника, словно боялся, что заплачет, если встретится с ним глазами.

– А вдруг она умерла?

– Нет.

– А что же тогда?

Тот не ответил и последнюю сотню шагов, до входа в подвальную квартиру дома № 11 по улице Гундулича они шли молча, а потом оттуда снова раздался крик Амалии, и у Радослава Мориня из глаз брызнули слезы, потому что только сейчас он вспомнил рассыпанную вдоль всей улицы Гундулича землю, разбитые горшки и растоптанные на тротуаре фиалки и понял, что случилось.

Мальша Антуна, единственного ребенка семьи Моринь, похоронили на мирогойском кладбище следующим утром. Кроме усатых мужчин, от которых пахло ракией, чесноком и гнилыми грушами, и их заплаканных жен на похороны пришли только Мони и Ивка. Других соседей не было. Их Морини и не позвали, потому как не было принято, чтобы господа с верхних этажей обращали внимание на тех, кто живет в подвалах, а обитатели этих самых подвалов притворялись, что не видят живущих наверху, опасаясь, как бы господа не подумали, что они, нижние, – мелкие воришки или попрошайки, которые разнюхивают, нельзя ли что-нибудь украсть или выклянчить.

После того как священник помянул невинную душу Антунову и помолился, чтобы Бог даровал ей покой вечный, мужчины отправились в при-кладбищенскую корчму, за рюмкой чего-нибудь покрепче попрощаться со смертью, обхитрить ее с помощью выпивки – может, забудет, к кому приходила и не увяжется за ними, когда пойдут по домам, а женщины в это время продолжали причитать над могилой, как научились еще девчонками на сотнях похорон по всем краям земли нашей, где каменистой, а где с жидкой грязью по колено. По одну сторону могилы голосили те, что из Лики, по другую – выросшие в Приморье, соперничая друг с другом и стараясь быть как можно более жалобными. В этом они сейчас были совершенно раскованны и свободны: мужчины ушли, а матери мальчика на похоронах не было, и они не должны были следить за тем, не слишком ли громко голосят, ибо по правилам, которые соблюдают везде, где есть плакальщицы, голос матери, сестры или жены должен быть громче любого другого. Амалия же в это время находилась вне реального мира, в старинном здании, окруженном лесной тишиной, где-то наверху, на Слеме⁹. Лежала и смотрела на потолок, расписанный сюжетами

⁹ Гора в 10 км к северу от Загреба, где расположен курорт.

с ангелами. Почти все время она молчала, словно ничего не знала, а когда вспоминала, что у нее был ребенок, и начинала плакать, сестры-францисканки говорили ей, что один только Бог вечен и что всякая человеческая слеза жжет его, как расплавленный свинец, и что плакать грех.

Амалия Моринь полгода оставалась в санатории. Радослав навещал ее, когда позволяло расписание его дежурств, сидел рядом с ее кроватью, держал за руку, спрашивал, не стало ли ей лучше; она кивала, как будто бы стало, и потом они просто молчали, пока не начинало темнеть, и не приходила сестра Ангелина, и не опускала руку ему на плечо, и тогда он знал, что на сегодня всё. За эти полгода он ни разу не слышал ее голоса, и казалось, что так оно и будет всегда.

А потом, в первую же ночь после того как он вернулся с дежурства в Новской, к нему во сне пришла покойная Анджа Блатушина, мать Амалии, которую он прежде никогда не видел: она умерла еще до того, как Раде и Амалия полюбили друг друга.

Он испугался, что Анджа станет его проклинать и упрекать за то, что не сберег ее дочь, и кинулся бежать, но в какую бы сторону ни бросился, она везде его поджидала и спокойно, тихо и медленно протягивала руку, будто хотела погладить его по щеке. Напрасно он убегал, потому что она не делала ни шага, а сразу оказывалась перед ним. Когда он, обессилив от беготни, упал у ее ног, покойная Анджа Блатушина сказала ему:

– Оставь ты ее, сынок, она к тебе не вернется. Просто оставь ее... – и сказала еще что-то, но что именно, Радослав Моринь, проснувшись, вспомнить не смог.

Однако Раде не поверил своему сну и на следующее же утро пошел к братьям-францисканцам исповедаться, а после этого снова сидел у ее кровати, спрашивал, не стало ли ей получше, а потом молчал до самой темноты.

Был понедельник, когда неожиданно, без предупреждения, Амалия вернулась домой. Раде был в Новской, на дежурстве, так что ее никто не встретил. Сначала она стояла посреди комнаты и приняла к воздуху, а когда на ее глаза навернулись слезы, взяла ведро и быстро отправилась во двор к колонке. Вымыв полы, она выгребла из шкафа всё белье и рубашки и сложила их заново. Она думала о Раде, бедном Раде, о его неловких руках, дорогих для нее руках, похожих на ветки явора, таких узловатых, о руках ее мужчины, которые даже рубашку не умеют сложить как надо. От таких мыслей ей было легче, намного легче, она и сама стала легкой, как листок, когда поняла, что запахи покидают дом и что в конечном счете реальнее то, что Раде не умеет сложить рубашку, а не то, что маленького Антуна больше нет.

Ей показалось, что его никогда и не было.

Но и это не так страшно, как то, что она вдруг поняла – Раде приедет только в пятницу, то есть в некое далекое завтра, и еще одно завтра, и еще одно завтра, и ее ужасает даже мысль, что под этим небом существует нечто столь далекое, как пятница.

Чтобы больше не думать о пятнице, она пошла в лавку Штука, но фрау Грета – старая гусыня, размалеванная, как какая-нибудь хозяйка борделя, фу, швабская ведьма, которая спицами убивает еще неродившихся детей, – не соглашалась дать продуктов в долг и все повторяла у всех на глазах: вы сумасшедшая, вы сбежали из больницы, и платком закрывала при этом рот и нос, словно боялась, что может заразиться.

– Я – сумасшедшая? Нет, Бог свидетель, это ты – дура набитая, если не понимаешь, сколько денег мы с мужем принесли твоей лавке! – кричала Амалия Моринь. Это были первые слова, которые она произнесла за последние шесть месяцев, и произнесены они были не в молитве.

После того как ей отказали еще в трех лавках, Амалия вернулась домой. Она осталась с пустыми руками, у Раде не было ни лука, ни муки, ни картошки; Бог его знает, готовил ли он себе вообще хоть что-нибудь за все эти месяцы, думала она, и ее грызла совесть. Ей все еще казалось, что она сможет потерпеть до пятницы, но прошло завтра и еще одно завтра, и

после двух голодных дней она вышла на улицу, надеясь, что сможет выпросить у кого-нибудь хоть несколько динаров.

Она направилась в сторону площади Елачича, поднялась на Долац¹⁰, прошла рядом с кафедральным собором, потом по Каптолу, дальше, в ту часть города, где снова начинаются дома с садами и огородами, где растет картошка и лук, а рядом прохаживаются куры и гуси, но стоило ей протянуть ладонь и открыть рот, чтобы сказать: «Сударыня, сударь, помогите несчастной!», ей казалось, что она видит кого-то знакомого, и она тут же отдергивала руку, как будто прикоснулась к горячей плите.

В какой-то момент она подумала, что могла бы украсть курицу, какую-нибудь совсем маленькую, настолько тощую, жалкую и несчастную, святую в греховном курином мире, что выглядит как ничья. А потом крестилась, пересохшими губами бормотала *Отченаш* и *Радуйсямария*, прося Господа и Деву, благодати полную, простить ей ее грех.

И в тот вечер она легла в постель голодной, а наутро поднялась на первый этаж и постучала в дверь господина Мони. Придумывая, что ему сказать и как умолить дать ей хлеба, Амалия и не предполагала, что дверь мог открыть кто-то другой. Госпожа Ивка, два огромных черных глаза, самых больших в мире, и с животом, носить который осталось недолго; я голодная, сказала Амалия, но она больше не думала о голоде, она думала о том, что госпожа Ивка грешница и весь мир это знает, потому что замуж она вышла шесть месяцев назад, а плод, который растет в ней, старше.

– О, так вы вернулись! – обрадовалась Ивка, пытаясь спрятать за смехом страх, вызванный сумасшедшей женщиной и возможностью того, что она сделает что-нибудь страшное, что нападет на ее ребеночка.

– Да, слава Богу, но моего Раде нет, он на дежурстве, а я сижу голодная, – быстро говорила Амалия, скрывая ненависть к этой красивой большеглазой блуднице (и особенно к ее животу).

Ивка Танненбаум в то утро дала Амалии Моринь картошки, муки, яиц и целый телячий окорок. Сделала она это скорее со страха, чем по доброте, так что, возможно, поэтому та телячья нога заняла столь важное место в жизни ее семьи.

¹⁰ Центральный рынок в Загребе.

III

– Прости меня, Боже, но хорошо хоть не сын! – сказала Амалия, когда Раде пришел домой с новостью, что у соседа Мони родилась дочь.

Он при этих словах только задрожал, будто от какого-то внутреннего холода, и ничего не спросил. За те несколько месяцев, которые прошли после возвращения жены из больницы, он научился не спрашивать ее ни о чем, чего не понял с первого раза, потому что ответы были все мрачнее и холоднее, настолько холодными, что от них, как ему казалось, человек мог замерзнуть, как в зимнюю стужу.

А ведь это было лето, когда Ивка родила девочку. Ей дали имя Руфь, так пожелал дед, Авраам Зингер. Он не сказал, почему выбрал именно его, почему было не назвать девочку Рахилью или Сарой, как некогда звали женщин, или Йосипой, Барой, Вишней, как в наше время. Так же как ее мать зовут Ивкой, то есть таким именем, которое особо не выделяется. Обо всем этом думал Соломон Мони Танненбаум, но не протестовал и ни о чем не спрашивал, а согласился с тем, что по желанию тестя девочку назовут Руфью, как Руфь из Моава, прабабку ветхозаветного Давида, которая была предана своим ближним и верна Богу Израиля.

К счастью, о Руфи-моавитянке Мони ничего не знал, потому что если б и знал, то все равно все так бы и осталось, просто он волновался бы еще больше. Но каждый визит старого Зингера был и без того преисполнен дурными предчувствиями: эти воскресные обеды время от времени, его плечи, сгорбленные над тарелкой с куриным супом, звяканье ложки и фарфора, упоминания о случайных встречах в Кайзерице¹¹, притом по субботам, когда Зингер ничего не делает, кадиш¹² за господина Розенцвейга, кадиш, который Зингер произносит в пустынном месте, под железнодорожным мостом возле Савы, там, где тот Розенцвейг, черт его побери, вдруг приказал долго жить после того, как зимой 1918 года его избili два брата, какие-то сремчане из Вараждина, на которых он донес, что те помогают скрываться дезертирам, затем укоризненные взгляды, поредевшая борода Зингера и кипа на его голове; о Господи Иисусе, говорит Мони как-то в воскресенье в знак удивления, на что Зингер, не сказав ни слова, встает из-за стола и уходит, что это с ним, спросил он Ивку, а она не могла ему ответить, хотя и знала, что с отцом; Мони хотелось бы, чтоб Зингера не стало, чтобы тот умер, но так, чтобы о его смерти никто ничего не узнал, чтобы он просто исчез, как дурное предчувствие, и чтобы его больше никто не вспомнил.

Вот что он думает, стоя над Авраамом, пока тот в первый раз держит на руках внучку. Выговаривает какие-то непонятные ритуальные слова, а может, колыбельную на еврейском, венгерском, арамейском или еще на каком-то десятом языке, и по щекам у него текут слезы. Соломон Танненбаум страшно боится, как бы дедова слеза не капнула Руфи в глаза, которые постоянно увеличиваются, каждый день и месяц, в них уже могла бы поместиться полная луна, глаза, которые не становятся меньше и из которых не текут слезы, даже когда они плачут, и будут они больше глаз Ивки, и смотрят они и не знают еще ничего о том, что видят.

¹¹ Район Загреба.

¹² Одна из иудейских молитв.

IV

Руфь Танненбаум заговорила, когда ей не исполнилось еще и десяти месяцев. Она сказала:

– О Боже, вы все время такие озабоченные, злые, и знай я, что вы будете такими, то не так легко согласилась бы подойти к клюву аиста.

А может, она и не говорила этого, может, эти слова выдумала Ивка, чтобы воззвать к разуму Мони: пусть поймет, что он отец, такой же, как все другие, и должен осадить тех бесстыжих, кто встают у него на пути, а не вечно прятаться и убегать, да молить Бога, чтоб его не узнали.

Он не засмеялся, когда Ивка повторила ему слова Руфи, а только бросил взгляд на ребенка и прошмыгнул мимо кровати в другую комнату. И не выходил оттуда несколько часов, а потом, как обычно по вечерам, выскользнул на улицу. На них даже не глянул, а, переполненный чувством вины и страха, причины которого он еще не понимал, бросился бежать туда, где его не знали, – в пивные на окраине города, чаще всего в Черномерце и в Кустошии, где среди карманников, полицейских шпииков, контрабандистов герцеговинского табака, лодочников, фальсификаторов денег и лотерейных билетов, убийц, евнухов, перепродавцов русских икон и поставщиков сербской сливовицы он проводил ночи в странных разговорах, не имевших никакой связи с реальной жизнью Соломона Танненбаума. В то время, когда те люди планировали, как разбогатеть, как ограбить банк и с деньгами сбежать в Америку или как перепугать, поколотить или забить до смерти кого-то, кто кажется им, неважно в чем, конкурентом, и в этих своих разговорах и делах были крайне серьезны, он участвовал во всем без какой-то видимой выгоды или желания совершить бегство в иной мир. Но именно поэтому его воровские планы были более смелыми, а разговоры о мести – более кровожадными.

Он рассказал им, что зовут его Эмануэль Кегле-вич и что он благородного происхождения, но его лишила состояния и наследства злая мачеха, насильно отправив в семинарию, а потом чередой обманов и невероятных рассказов, от которых у слушателей перехватывало дыхание, заставила принять сан священника и по настоятельному личному совету венского архиепископа, который был ее интимным другом, отказаться от дворянства и всего имущества. Все это, как продолжал Мони, углубляясь в свою фантазмагорическую мистификацию, он проделал, веря в Бога единого, однако поняв, что обманут, отказался от священнического служения, отверг колоратку и реверенду¹³ и решил отомстить и вернуть все, что ему принадлежало.

Он знает, что и сам будет гореть в аду, ведь он предал того, кого предавать не смел, что жизнь вечную он презрел ради земного серебра и золота, но ему это не кажется отвратительным и страшным, потому что в аду он будет вместе с мачехой и ее дружкой, венским архиепископом, и сможет и там продолжать мстить им.

Хотя Соломон Танненбаум был мужчиной хлипким, мелким, с куриной грудью и вечно горбившимся, стоило ему превратиться в Эмануэля Кеглевича, как он начинал вызывать глубочайшее уважение даже у самых закоренелых дебоширов, спекулянтов и бандитов. Стоило ему во время ссоры поднять руку, будь тут хоть десять человек, они замолкали, чтобы услышать, что он скажет и какое вынесет решение. Ему верили, его слово ценили в равной степени как братья Богдановичи из Купреса, четверо стариков-грабителей, первые ордера на арест которых были выписаны еще во времена турок, но их ни одна полиция так никогда и не схватила, так и Грга Маркулинович, два года назад, в Опатии¹⁴, ограбивший и убивший целую чешскую семью: отца, мать и троих детей – ему не избежать смертной казни, когда его поймают.

¹³ Белый воротничок и черная мантия католического священнослужителя.

¹⁴ Популярный курорт на берегу Адриатического моря, недалеко от Загреба.

– Мне, господин Кеглевич, снится тот ребенок, просто не выходит у меня из головы, вы себе не представляете, каково это – деревянным молотком для отбивания мяса расколоть такой маленький череп. Да к тому же еще и женский. «У меня это никак из головы не выходит, он треснул, как зрелый перец, когда его стиснешь в руке, не могу заснуть, стоит только вспомнить этот треск», – жаловался ему Грга.

– Раз так, то шагай на Петриньскую¹⁵ и признавайся, – холодно приносил Эмануэль Кеглевич, а Мони, мелкий Мони, пугливый Мони, нежный Мони изумлялся, что его ртом, сердцем и головой говорит некто столь страшный и сильный. И до раннего утра, до возвращения домой, Мони или Эмануэль, Танненбаум или Кеглевич будет умирять свою твердую мужскую силу.

Он ложился в постель рядом с Ивкой обычно в половине четвертого, просыпался в шесть, а уже без пятнадцати семь сидел в конторе Георгия Медаковича на Зриневце и каллиграфическим почерком переписывал жалобы загребских граждан друг на друга, просьбы, дипломы, благодарности, объявления и распоряжения, кириллицей и латиницей, а при необходимости и готическим шрифтом. Еще некоторое время в нем жил Эмануэль Кеглевич, аристократ, авантюрист и католик, который постепенно скукоживался и исчезал, а уже около полудня, к моменту, когда появлялся с визитом и с целью контроля начальник Георгий, оставался только испуганный Мони, чиновник низшего ранга, писарь Соломон Танненбаум, который смертельно боялся, что начальник однажды схватит его за ухо и вышвырнет из канцелярии, когда кто-то сообщит ему, что в 1920 году, перед первым визитом королевича Александра в Загреб, Танненбаум взывал к императору австрийскому и за это был наказан битьем по подошвам ног и внесен во все полицейские книги как преступник. У Мони чесалось правое ухо, оно всегда было краснее, чем левое, хотя сильные, узловатые пальцы начальника Георгия еще за него не хватались.

– Э-эх, Соломон, Соломон, не дал тебе Бог ума, хотя бы столько, сколько у бедняка в каше шафрана! – только и сказал бы ему начальник, и всякий, кто при этом был в конторе, смеялся. А когда не было никого другого, смеялся сам Мони.

На следующий день после того, как Руфь произнесла свою первую фразу, или после того, как это выдумала мама Ивка, папа Мони не прошмыгнул мимо кровати, чтобы потом притаиться в другой комнате, а взял девочку на колени и попытался объяснить ей окружающий мир:

– А кто моя маленькая мышка, чей это носик, у кого самые большие глазки в Аграмштадте¹⁶, ой, ой, ой, какие страшные слова, Аграмштадт, описашься и обкакаешься от страха! Не обкакалась ли папина принцесса? Нет, нет, папе это просто показалось. Вечно папе что-то такое кажется, но мы не будем сердиться на папу. Ведь правда, не будем? Папа просто осторожный, потому что никогда не известно, когда маленькая принцесса обкакается.

Руфь пыталась выскользнуть из папиных объятий, но он тогда еще крепче обнимал ее и прижимал к себе. Папин подбородок был колючим, как морской еж в Цриквенице¹⁷ следующим летом, как ветка ежевики и иголка в красной подушечке с иголками. Папин подбородок был колючим, как все эти вещи, но так как Руфь еще не знала ни одной, она испугалась и заплакала. Мони пытался ее успокоить и утешить, пытался опять обнять, и сотни его колючек вонзались в руки и щеки Руфи. Ей казалось, что это никогда не прекратится и что в нем, кроме этих колючек, нет ничего. И в этом она, вероятно, была права. С тех пор как родилась дочь и он начал ночные гулянки по Черномерцу и Кустошии и обнаружил людей, для которых станет Эмануэлем Кеглевичем, Соломон Танненбаум все меньше старался наполнить свою дневную жизнь каким-то содержанием, чтобы на что-то надеяться и во что-то верить. В нем остался только страх, который колол изнутри, как его подбородок колол Руфь.

¹⁵ Улица, на которой находится полицейское управление.

¹⁶ От немецкого названия Загреба – Аграм, бытовавшего во времена Австро-Венгерской империи.

¹⁷ Небольшой курортный городок на Адриатическом побережье.

Он продержался так час или два, объясняя Руфи мир, а потом сбежал от ее плача.

– Дай ее мне, – сказала Ивка, и он тут же схватил и набросил на себя серую бархатную крылатку, купленную когда-то давно в Вене племяннику Фреди по случаю окончания им гимназии, но тому она оказалась мала и он подарил ее Мони, а Мони, по общему мнению, выглядел в ней как русский граф при бегстве в эмиграцию. И именно поэтому крылатка так хорошо сидела на Эмануэле Кеглевиче, который в тот вечер был особенно жестоким, видимо, расстроенный тем, что Мони не смог успокоить Руфь.

Он сидел в доме у Крсто Продана, на полпути к Подсуседу¹⁸, и в той же комнате, в постели, устроенной на середине большого дубового стола, умирал хозяин. Пришло человек двадцать, в основном те, с кем Эмануэль Куглевич постоянно встречался, но на этот раз все они отправились не в пивную, а к Крсто, тот уже семь дней не приходил в себя; они сидели вокруг стола, на котором он покоился, пили ракию, курили, разговаривали о жизни и об умирании и ждали, когда Крсто вернется или уйдет навсегда. Он лежал ни живой, ни мертвый, жена Илонка поила его, подтирала и переодевала, а он не издавал ни звука даже тогда, когда Йозина Богданович, самый старший среди братьев Купрешак, почти столетний, большим и указательным пальцем тербил его ухо или ногтем проводил по поверхности его глазного яблока. Но Крсто только слегка краснел, а на лбу у него взбухали вены, причем, возможно, так только казалось тем, кто думал, что Крсто Продан симулирует, что с ним ничего не случилось и что он рухнул в постель только для того, чтобы не возвращать Богдановичам долг. Весь год он был здоров как бык, а потом, именно в тот день, когда должен был отдать им деньги, упал возле пивной «У Елачича» на Кустошии. А перед этим даже капли ракии не лизнул, никому не пожаловался, что ему плохо. Тогда его отнесли к Илонке и велели, чтобы она ему сказала, может, хоть ее он услышит, раз не слышит никого другого, что Купрешаки еще никому не прощали долгов и уж тем более не простят ему, у которого достаточно состояния, чтобы заплатить еще и проценты.

– Какое состояние, люди божи, где оно наше состояние, когда нам нечего есть, – плакала Илонка, а Марко, внук Йозы, глазами показал на дверь, закрытую на два поворота. Откуда он знал, что она закрыта? Да оттуда, что все купресцы, посавляки, герцеговцы, боснийцы, дельничане и загорцы, и те, что верхние, и те, что нижние, из Загоры и из Загорья, где бы они ни поселились и куда бы ни переселились, от Чрномерца, Врапча и Кустошии до Святой Недели, Самобора и Руда, все, кому Крсто Продан хоть раз доставил табак, после чего они всегда обращались только к нему, чтобы купить одну, две или три рубашки табака, потому что от сотворения мира мерой для герцеговинского табака была и осталась коробка от мужской рубашки, – все они знали, а знал и кое-кто из здешних, урожденных загребчан, что Крсто Продан дверь на второй этаж закрывает на два поворота ключа, а гостей и клиентов принимает на первом. Людям известно, почему он так делает, но говорить об этом никто никогда не говорил.

И так все и шло, пока Крсто Продан, чувствуя, что приближается старость и что долго он не протянет, не взял в долг у стариков Богдановичей сто пятьдесят тысяч динаров, хотя его собственный дом со всей землей стоили не больше пятнадцати, намереваясь на эти деньги купить и перепродать весь утаенный от государства табак, от Дриноваца до самой Билечи и от Дервенты до самого Орашья. Было договорено, что долг вместе с десятью процентами сверху он вернет в тот же день следующего года. А если нет – купрешане вернут себе всё, как они умеют, исключая случай, который обозначил самый старший из них, Йозина, – если Крсто умрет собственной, то есть естественной, смертью или от болезни. Тогда долг отправится в могилу вместе с Крсто.

– Мы не такие нищие, чтобы требовать динары у женщины, – заключил Йозина, и тут не могло быть никаких возражений, – причем не у одной женщины, а у девяти, – продолжил он, – не хватало, чтобы люди нас девять раз нищими прозвали!

¹⁸ Одно из предместий Загреба.

Дело в том, что у Илонки и Крсто было восемь дочерей и ни одного сына. Самой младшей исполнилось двенадцать, а самой старшей было почти тридцать. Ни одна из них не вышла замуж, потому как Крсто не хотел отдавать их за кого попало, а если бы кто-нибудь из молодых людей оказался из хорошей и уважаемой семьи, то пришлось бы, соответственно порядку и обычаям, дать за молодой еще и какое-то приданое. В первые годы Крсто надеялся, что Илонка через некоторое время начнет рожать и сыновей, а тогда вместо солидного приданого можно будет обещать их, ну, вроде как в твой дом я отдаю свою дочь, но приму твою в свой, когда придет ее время выходить замуж, только эта запутанная бедняцкая математика провалилась, как проваливаются всякие расчеты с неродившимися детьми, и тогда Крсто начал искать способы разбогатеть и обеспечить дочерей приданым.

Расчет с табаком был великолепным. После того как он в Загребе, Карловце, Любляне, Праге, Кракове, Нови Саде и Белграде перепродает табак, он вернет долг Богдановичам, каждую дочь выдаст с богатым приданым, настолько богатым, что об этом будут рассказывать по всему королевству, везде, где есть крестьяне и крестьянские посиделки, а ему с Илонкой еще останется сколько-то динаров, чтобы до конца жизни хорошо жить и ничего не делать.

Никто не знал, как именно провалился этот Крстин расчет. И действительно ли провалился или же ему все-таки удалось повернуть дело с табаком и припрятать миллионы до того, как его разбил паралич, и теперь никому не известно, где они.

– Дверь закрыта? – спросил Илия, один из более молодых братьев Богдановичей.

– Закрыта, – ответила Илонка. – Таково желание Крсто, против его желаний я, покуда жива, пойти не могу.

– Ну да, как же ты можешь, ведь он тебе муж... – донесся чей-то голос.

– Если мы здесь застряли надолго, тебе придется открыть, – Илия пытался с ней сторговаться, но было непонятно, куда он клонит.

– Не открою, покуда мне Крсто не скажет.

– Ты же видишь, он сказать не может.

– А с чего бы мне открывать тебе дверь?

– Хотим посмотреть, не лжете ли вы нам.

– Мне, бедной и несчастной, нечего лгать, я, считай, одна теперь на белом свете.

Когда Илонка заплакала, Йозина Богданович нахмурился. «Избавь меня, черт возьми, от своих слез!» – рявкнул он, но она не перестала плакать и тогда он потребовал от тех, кто помоложе, свернуть для него из табачных листьев сигару и раскурил ее, затянулся два раза, чтобы получше разгорелась, а потом поднес к Крстиной руке и прижал в том месте, где она сгибается в локте. Зашипело обожженное мясо, запахло жареным Крсто Проданом или так всем только показалось, но он – хоть бы что, только немного побледнел, а может, и это тоже показалось, и кожа у него на лбу как-то натянулась, будто сейчас лопнет, и перед ними вывалится и стукнется о дубовые доски череп того, кто не вернул долг Купершакам, и об этом начнут рассказывать в окрестностях Загреба, и еще больше возрастет слава братьев Богдановичей, которых с турецких времен и по сей день не удалось поймать ни одной власти.

Кто знает, как долго Йозина прижигал кожу Крсто, а тот при этом даже бессознательно не согнул руку в локте, но это время вместило в себя целый мир вместе с болотистыми загребскими окраинами и селами в окрестностях Любишло и Читлука, с вздувшейся рекой Босной, с посавскими кровавыми свадьбами и глубокой мужской болью, с терзанием Крсто из-за того, что жена восемь раз рожала ему дочерей и ни разу сына, но он при этом ни разу не посмотрел на нее косо.

Соломон Танненбаум, или Эмануэль Кеглевич, смотрел на то, что происходит вокруг, и хранил молчание. Он наслаждался тем, что все ждут его решающего слова, вердикта о долге и болезни Крсто Продана, о том, следует ли вернуть долг и действительно ли Крсто ни жив, ни мертв или же притворяется, чтобы спасти жену и восьмерых дочерей. Как он вообще может

их спасти, думал Мони: если жив, долг остается, если наложит на себя руки, заплатят они. И только в том случае, если то, что мы видим на дубовом столе, то, что нам приготовила Илонка вместо угощения, действительно правда – долг вместе с ним отправится в могилу.

Несмотря на то что Йозина прижигал Крсто кожу, а тот при этом даже не дернулся, Эмануэль Кеглевич был уверен, что с ним ничего не случилось, что он здоров, здоровее не бывает, и готов в их присутствии лежать так до самой смерти. Они могут его поджаривать и резать, вырывать ему ногти и ломать кости, Крсто Продан не издаст ни звука, потому что у него есть ради кого страдать.

Он чувствовал ненависть к этому человеку. И как Эмануэль Кеглевич, католик и большой грешник, который ради идеалов готов оказаться в аду, и как Соломон Танненбаум, еврей, который не еврей и тогда, когда все другие думают, что он еврей, и как обычный перепуганный Мони, он ненавидел Крсто Продана. И ненавидел потому, что у Крсто Продана что-то есть, жена и те его восемь дочерей, что-то, во что можно превратиться и во что он превратился, что-то, что всасывает и выпивает весь его животный страх и боль, и сейчас он спокойно лежит, словно дух без тела, в ожидании конца.

– Если это грех, беру его на себя, но он будет мертвым до тех пор, пока эта дверь заперта, – произнес из Мони Эмануэль Кеглевич, – или пока тех, кто за этой дверью, не тронет мужская рука.

Крсто Продан повернул голову, посмотрел на него и произнес какое-то проклятие – кто знает, где он его слышал, возле Гацка или Невесиня, там, где в ругательствах смешивается турецкая и православная кровь, или чуть южнее, среди католиков, которые не вполне уверены, что они католики, или же проклятие это придумал он сам посреди дубового стола, пока лежал на матрасе из козьей шерсти, накрытый овечьими шкурами, – именно так, как он и распорядился, чтоб все было по-влашки и никак иначе, когда он будет страдать и умирать, держа язык за зубами, пока не уйдет с этого поганого света. Однако то, что сказал Эмануэль Кеглевич и что, следовательно, исходило и от Соломона Танненбаума, хотя Крсто о таком человеке никогда не слышал и не имел о нем ни малейшего представления, даже приблизительного, было смертоноснее любого известного людям яда. Не дай Бог таких слов даже тем, кто слову не верит.

Было ли все именно так или иначе, ну, например так, как о кровавых событиях, о смерти супругов из предместья Загреба и о нервном срыве всех восьмерых их дочерей писали и «Утренняя газета», и «Новости», и «Политика», это, в сущности не важно, потому что Соломон Танненбаум взял на душу Крсто Продана и жену его Илонку, так же как и все горе, которое после них досталось живым.

То ли он слишком заигрался и поверил, что может полностью превратиться в Кеглевича, аристократа, которому все простится, хотя сам он твердил, что окончит жизнь в аду, то ли его несла и унесла к чертям предвечерняя нервозность, нескончаемый плач Руфи, то, что для своей дочери он не был тем, чем был своим дочерям Крсто, – этого мы никогда не узнаем, да нам это и не важно, потому что мы давно живем свои жизни и не боимся, что с нас кто-нибудь за них спросит, а Соломона и его близких вспоминаем лишь тогда, когда на нас налетит южный ветер, начнется тахикардия или на воскресной мессе охватят угрызения совести.

V

После смерти Антуна Амалия больше не могла иметь детей. Напрасно Радослав водил жену к знахаркам, травницам, целительницам и чудотворцам, чтобы те лечили ее травами и кореньями, снимали с Амалии сглаз и отгоняли от нее духов, ранним утром ставили вверх ногами стоять на руках до полуночи, потому что тогда все силы из ее матки перейдут в верхнюю часть тела, а оттуда их легче изгнать и они не смогут сделать женщину бесплодной; напрасно платили за мессы, молились Богу и Блаженной Деве, совершали паломничества в Мария Бистрицу и в Синь, в Олово и Конджило, напрасно Радослав Моринь давал обет обойти на коленях всю Бока Которску¹⁹, только бы его жена зачала. Но вместо того чтобы обрести дитя, им обоим оставалось только дважды в день ходить в церковь и исполнять еще один свой обет – жертвовать на церковные нужды все деньги, которые бы они тратили на ребенка.

Если бы все зависело только от него, а не от нее, скорее всего, до такого бы и не дошло: он переболел бы этой болью и забыл, у Мориней и так полно детей и родовое семя не заглохнет, но Амалия не могла примириться с судьбой, да нет, это не то слово – «примириться», потому что для нее речь шла не о примирении или непримирении, а о том, что она не знала, как ей жить без ребенка. В те дни, когда муж был в Новской, Амалия с утра кипятила молоко и стирала пеленки, осматривала пустую кроватку, снова застилала ее, взбивала подушку, как будто Антун просто пошел с отцом погулять и вот сейчас вернется, запыленный и вспотевший, и она спешила согреть воду на плите, перелить ее в деревянное корытце, приготовиться купать сына, проверяла, не слишком ли вода горячая, добавляла несколько капель оливкового масла, как сказала Анджелина, мать Раде, а покончив со всеми этими ритуалами, начинала все сначала, как можно скорее, со стуком, криками и смехом, чтобы скрыть от себя то, что нормальному человеку скрыть очень трудно: никакого ребенка нет, Антун исчез и никогда не вернется.

А потом она уставала, и садилась на кровать, и плакала. А потом она вспоминала, что каждая слеза прожигает Божье тело, как расплавленный свинец, и тогда молилась усердно, до самой темноты, бусины четок становились горячими от подушечек ее пальцев, язык был весь в ранках, потому что, высохший от непрерывной молитвы, царапался о зубы так же, как колени грешников об герцеговинские камни, и вот так она, на середине молитвы *Радуйся, Мария*, нередко засыпала и, проснувшись рано утром, перед рассветом, продолжала молитву всегда на том же самом месте, на котором накануне вечером, перед тем как заснуть, остановилась.

В те дни, когда Раде оставался дома, Амалия не стирала пеленки и не перестилала белье в кроватке, а если он замечал что-нибудь похожее на то, чем она так одержимо занималась, пока его не было дома, или же если кто-нибудь, скорее всего сосед Мони, что-то ему рассказывал, и он ее спрашивал, как это понимать, Амалия вскипала, кричала так, что слышно было и на середине Гундуличевой, и обвиняла его в том, что он хочет от нее избавиться, вернуть ее в сумасшедший дом и объявить невменяемой, а потом жениться на какой-нибудь молодой и красивой, какой-нибудь небесплодной, пусть это даже будет валашская шлюха из Билечи и Дрниша, которая крестится тремя пальцами и кадит ладаном после того, как согрешит. Тщетно пытался он ее успокоить, она его не слышала, не могла слышать и продолжала так же, как и начала. Обычно это продолжалось до вечера, а когда Амалия наконец-то замолкала и засыпала, не договорив до конца какое-нибудь ругательство, Радь относил ее в кровать. Лишь во время нескольких таких шагов, когда она во сне обнимала его, оба они были счастливы.

– Амалия могла бы смотреть за вашим ребенком, – предложил Радь Мони. Зачем, ведь Ивка не работает, мог бы спросить Танненбаум, и одна она не ходит даже на рынок, они идут вместе, в пятницу, с утра, он катит коляску, а Руфь в коляске что-то рассказывает, произносит

¹⁹ Буквально: Которское устье, крупнейшая бухта Адриатического моря на территории Черногории.

речи в духе Николы Пашича²⁰, люди останавливаются, смеются, глядя на нее, тогда и Мони смеется вместе с ними. А ввиду того что Ивка выходила из дома только тогда, Мони мог бы спросить Радь, зачем Амалии смотреть за ребенком и вообще какой в этом смысл, но он не спросил, а просто кивнул, опасаясь, что Радослав Моринь может увидеть в его глазах, что он считает Амалию сумасшедшей.

Так Соломон Танненбаум позволил ненормальной женщине два раза в неделю нянчить свою дочку.

– Руфь не ест фасоль и перловку, от них ее пучит.
Ни в коем случае не давать ей фасоли
и перловки!
Алкалая Баруха, раввина из Нови Сада,
дочка Рикица
от фасоли и перловки получила заворот кишок.
Отец покончил с собой.
Мать умерла, а все из-за перловки.
Богом вас заклинаю,
в которого вы веруете и которому
за нас молитесь, Амалия,
ангел-хранитель, не давайте Руфи
перловку и фасоль,
и не бойтесь прикрикнуть, если вдруг

перестанет слушаться, – запела Ивка на ухо Амалии, словно читая какую-то молитву, которую следовало именно так тянуть, гнусавить и распевать, наполняя ее печалью и болью в желудке, чтобы после этого больше ни Богу, ни людям не пришло в голову поступить иначе, чем вымолено молитвой. Сделала она это потому, что была в отчаянии от того, что Мони согласился, чтобы эта женщина присматривала за их ребенком, а воспротивиться не могла, так как не смогла бы произнести, что Амалия сумасшедшая. И хотя Ивка знала, что он знает, что она думает об Амалии, она напрасно ждала, что Мони упомянет и ее безумие, ну, хотя бы скажет, что с женой Раде и с ее рассудком все в порядке, потому что тогда могла бы ответить ему, что ничего не в порядке, и могла бы ему сказать, что не отдаст ей своего ребенка ни за что на свете.

– Нужно иметь хоть кого-то из соседей, кто сможет прийти нам на помощь, – спокойно сказал Мони, – даже если помощь нам не нужна.

Замирая от страха, Ивка около полудня покинула дом № 11 по улице Гундулича. Вернется она сюда часам к восьми, а до этого ей придется самой придумать, куда идти и что делать. Перед ней раскинулся Загреб, большой и красивый город; маленькая Вена, где еще можно встретить господ с бакенбардами, как у императора Франца-Иосифа: они шаг за шагом, постукивая по тротуарам лакированными тростями, направляются в сторону Верхнего города, чтобы за темными входными дверями, где пахнет капустой и гуталином, ковать заговоры против королей и министров, которые уже давно перестали быть таковыми; Загреб, в котором каждый знает каждого, но приветствуют друг друга лишь самые близкие друзья и самые ярые враги, остальные проходят один мимо другого молча, как мимо витрин или фасадов, ибо таков негласный уговор между загребчанами и таков способ создать иллюзию о размерах города, в котором незнакомых друг с другом людей больше, чем в настоящей, большой Вене; Загреб, в котором пахнет рогаликами со сливочным маслом, а молодые матери с волосами, уложенными

²⁰ Никола Пашич (1845–1926) – сербский и югославский политик и дипломат.

а ля Глория Свенсон²¹, супруги высоких чиновников бана и короля, недавно переехавшие сюда из Белграда, Аранджеловича или Чачака²², ведут за руку мальчиков в матросках, пока в укромном месте скрипят зубами уничтоженные «буйные» из партии Старчевича, борцы против мадьярского и венского сапога, которые к этому времени уже утомились, и бодрые профсоюзные деятели, конспираторы и оболъстителы, все как на подбор ветераны Октябрьской революции, – они охотно показали бы молодым матерям, в чем их ошибка, если бы нашелся кто-то, чтобы купить мальчику мороженое и погулять с ним час-другой в Максимирском парке, где страшно кричат обезьяны, а тигры и львы рычат так, будто мы не в Хорватии, а заблудились в каких-то девственных африканских лесах, среди местных жителей, которые даже не слышали ни о Загребе, ни о загребчанах.

Итак, этот город раскинулся перед Ивкой Танненбаум, но она его не узнала и после продолжавшейся целый день прогулки не чувствовала ничего, кроме страха и скуки. Она боялась, не случилось ли чего с Руфью, не знала, что обнаружит, вернувшись домой, что расскажет ей сумасшедшая Амалия, не оболъет ли она девочку, не дай Бог, горячим молоком и не даст ли ей выпить уксусной эссенции, после чего та умрет, как умер маленький Антун; ноги Ивки подкашивались от ужаса, от нехороших предчувствий, которые обгоняли друг друга, и она с трудом сохраняла равновесие, но все-таки заставляла себя думать о чем-нибудь другом, прибавляла шагу, спускалась вниз по Влашкой улице почти бегом, будто пытаясь догнать разносчика молока, чтобы напомнить ему принести завтра на одну бутылку больше, поэтому она устала и все наводило на нее тоску, страшную тоску; все эти фасады, посеревшие от зимнего дыма боснийского и сербского угля, сгоревшего в печах наших господ, от фабрик, на которых перерабатывались древесина, каучук, хлопок и кто знает, что еще; наводили тоску служанки, стоявшие перед аптеками, чтобы купить своим барыням что-нибудь для крепкого сна, что-нибудь против болей, что-нибудь против кошмаров – веронал или морфий, в конце концов не важно что, лишь бы действовало; наводили тоску господа в полуцилиндрах, высокие светловолосые пятидесятилетние мужчины с мышцами мощными, как у Матиевича из Лики, чемпиона в классической борьбе и драчуна, физкультурники и палачи, роялисты и германофилы, толпы поющих католиков с горящими свечами в руках; наводил тоску начавшийся дождь, а потом она, прижавшись к какой-то стене, чтобы укрыться от его капель, опять вспомнила Руфь, свою бедную девочку, которая по вине отца-слабака оказалась в руках несчастной сумасшедшей.

Амалия же смеялась, так смеялась, что теряла дыхание, ей казалось, что она сейчас задохнется, и тогда она успокаивалась, но стоило ей снова вдохнуть воздух, как смех возвращался. Надо же, неужели такой маленький ребенок может сказать нечто настолько смешное!

– Ты, тигреноч, – самое веселое Божье создание, – сказала Амалия, а Руфь ела фасоль и перловку. Она первый раз сама держала в руке ложку и уже принялась за следующую тарелку, а между двумя ложками рассказывала про то, как папа каждый вечер исчезает. Надевает тапочки, садится рядом с плитой, открывает газету и исчезает. Как это исчезает? Очень просто: пока Руфь и мама моются и вытираются, а потом обсыпают себя пудрой, как мельник Божо мукой, вдруг оказывается, что папы больше нигде нет.

Руфи уже два года. Руфь не пересказывает папины слова, она превращается в папу, у нее вмиг вырастают усы, но в следующую секунду она уже превращается в маму, с большими, темными еврейскими глазами; Амалия боится этих глаз, а Руфь говорит так, как говорит мама Ивка – ее глубоким голосом, «р» перекачивается, как будто она француженка, – и произносит:

– Эх, Мони, Мони, не будь этого ребенка, мы бы с тобой по-другому разговаривали, – тут у Руфи снова вырастают усы, морщится лоб, на макушке появляется шляпа, но папа Мони ничего не отвечает, только что-то мычит, оглядывается, смотрит, не подслушивает ли кто; эх,

²¹ Глория Свенсон (1899–1983) – американская звезда эпохи немого кино, позже актриса театра.

²² Города в Сербии.

еврей, еврей, хитрый еврей, думает Амалия, только и ищет, куда спрятаться, боится за себя, не то что Раде, ее дорогой Раде, открытая душа.

– Будь я умнее, сбежала бы с майором Даноном, тебя бы не дожидалась, – продолжает мама Ивка, но теперь она грустная, такая грустная, что у Руфи по щекам катятся слезы. Она продолжает есть фасоль и перловку, но плача, чтобы тетя Амалия видела, как это, когда мама плачет. Только тете Амалии совсем не смешно. Она раскрыла рот от изумления, смотрит на этого ребенка и не знает, действительно ли видит то, что видит. О детях она слышала всякое, но такое – никогда.

– Тигренок, да ты просто волшебница! – сказала Амалия, как будто разговаривая со взрослой женщиной.

Без пяти минут восемь Ивка позвонила в дверь Мориней. Ох, как она была счастлива, когда дверь ей открыла Руфь: как же ты выросла с утра, обняла она дочку, когда мы прощались, ты не могла дотянуться до дверной ручки, а сейчас, смотри-ка! Поблагодарила Амалию, никогда не забуду, говорила она, ни вас, ни вашего супруга – да что тут такого, мы же все-таки соседи, а значит, друзья, отвечала Амалия. Ивка была готова целовать ей руки, глаза ее полны слез.

В ненависти, которую она тогда почувствовала, в тихом и тупом желании иметь руки великана и, как курице, свернуть Ивке голову Амалия потом будет исповедоваться неделями и неделями, у одного, второго, а потом и третьего священника; епитимьи будут следовать одна за другой до тех пор, пока и этот грех не поблекнет, как блекнет любое воспоминание.

Ей хотелось сломать Ивке шею потому, что та считала ее подозрительной и верила, что она ненормальная и может причинить Руфи какое-то зло. Для Амалии это было страшным ударом: бесчувственная еврейка не отличает боль по умершему ребенку, ангелу, который возле престола Господнего плетет паутину их золотых нитей, от истерики, неврастении, маниакальных припадков или еще чего-то, с медицинской точки зрения относящегося к сумасшествию.

– Она считает, что я могла бы задушить ребенка! – сказала она мужу.

– Тебе показалось, – ответил тот и сразу пожалел об этом, потому что Амалия принялась кричать и теперь, вероятно, не прекратит, пока не устанет и не заснет.

Быстро пришла пятница, день, когда Амалия снова присматривает за Руфью. Раннее утро, Ивка ее обнимает и напевает на ухо, чтобы ребенок не услышал:

– Не давайте ей, дорогая, забираться на стулья!
Сын Цви Борнштейна был как Руфь,
он забирался
И сломал шею, дорогая моя,
ему сейчас двадцать пять,
А он неподвижен всю жизнь из-за стула
высотой меньше локтя.
Руфи не давайте, дорогая моя, во имя Бога,
в которого веруете
И за нас всех молитесь, чтоб на стулья
не забиралась,
Амалия, ангел-хранитель,
и не бойтесь прикрикнуть,
если вдруг перестанет слушаться —

По Илице шли служанки с корзинками, из которых торчали хвосты давно уже мертвых тунцов, дорад и зубаток, поддавшихся на обман и погибших в море севернее Сплита, почившей горной форели, мертвым сном спали там вялые сомы, одни только ошалевшие от ужаса

карпы еще трепетали, хотя в рыбном павильоне рынка их рыбы лбы уже были разбиты профессиональным ударом деревянного молота, однако их карпова жизнь оказалась сильнее и они были совершенно не готовы принести свои рыбы тела в жертву христианскому посту. Ивка смотрела на них, на это утреннее рыбе кладбище, на плотных, крепких, грудастых девушек, ядреных славон²³ на службе у Швайцера и Миклошича, лучших гинекологов королевства, получивших образование в Вене, которых посещают дамы генералов и министров из Белграда, утомленные возрастом и родами, чтобы им с помощью небольшого количества морфия и совершенно безболезненно очистили утробы от припозднившихся Лазарей и Милиц, Обиличей и косовских девушек, и которые потом хвастаются друзьям-адвокатам, Лопатичу, Варге и Сланскому, что они, возлагая кровавые сербские фетусы²⁴ на жертвенники будущей свободы народа, значительно ослабили и сделали неспособными к борьбе всех этих королевских палачей и тиранов, это безграмотное и свирепое плебейское племя. А когда эти наши медики из партии Йосипа Франка²⁵, эти медицинские светила изрядно выпьют, то лапают за сиськи служанок и требуют, чтобы те повизгивали по-нашему, по-хорватски, как в разгульных народных и свадебных песнях, этом духовном зеркале невинной и наивной хорватской души. Пятница, так что по Илице валит оживленная грудастая толпа, сегодня они будут готовить вареную треску с картошкой, жарить сома, тушить с луком и красным перцем, доставленным из Южной Сербии, ведь с венграми мы теперь в разных государствах, на плитах будут долго томиться паприкаши из судака и стерляди, умирать в муках карпы, – Господь, будь милостив к ним, – которые живы еще и тогда, когда их режут и бросают в кипящее масло, Господь, спаси этих евреев рыбьего мира.

Она с трудом пробиралась среди господских служанок, среди всех этих девиц, потому что теперь они, узнав ее, не уступали ей дорогу, как это делают, когда вдруг появляется какая-нибудь дама, например госпожа Слезак, которая каждое утро с Илицкой площади направляется на Пражскую улицу играть с сестрами Монтекарло в белот или снап, или госпожа Бенешич, супруга императорского и королевского фельдмаршала Фердинанда Бенешича, который, смотрите-ка, уже двенадцать лет противостоит Карагеоргиевичам и их свиной короне; завидев таких, молодки с рыбой в корзинах всегда уступают дорогу, потому как и Слезак, и Бенешичка могли сообщить куда надо о том, что они ведут себя неподобающим образом и прямо на Илице разрушают формировавшееся столетиями достоинство хорватской крови и имени благородного Адольфа Швайцера или кого-нибудь еще из городской верхушки.

Они бы и Ивке Зингер уступали дорогу, но знают, что старик Зингер продал свою лавку на Месничкой и теперь ничего не сможет им сделать. Кто знает, жив ли он вообще, этот старый еврей и ростовщик, или же откинул копыта, черт бы его побрал, его и его лавку, да и эту его фифу: ты только погляди, как она вышагивает, будто папа купил ей весь Загреб!

Толкали ее, оттесняли, наступали на ноги, пихали локтями, но Ивка им ничем не отвечала, она вообще не обращала на них внимания, она просто хотела как можно быстрее пройти Илицу, потому что ей было нехорошо, ее тошнило от всех этих рыбьих хвостов, от чешуи, поблескивавшей на тротуаре, и от зловещих запахов городского рыбного павильона, где в постные дни с раннего утра католики с закатанными рукавами хулят Бога и всё Божие. Сегодня Ивка спешила – могло показаться, что она хочет от кого-то убежать. Но она не бежала, а шла на Зеленгай²⁶ навестить папу; именно так, да, старый Зингер жив, и чувствует он себя хорошо, хотя из дома выходит редко. Говорит, что устал от людей; как-то раз взял бумагу и ручку и подсчитал: если к нему в лавку каждый день заходило по двести пятьдесят человек, а прибли-

²³ Славония – историческая область на востоке Хорватии, житница страны.

²⁴ От *лат.* fetus – эмбрион.

²⁵ Партия права в хорватском парламенте.

²⁶ Один из районов Загреба.

зительно так оно и было, то за сорок пять лет, сколько он – сначала помогая отцу, а потом и самостоятельно – проработал на одном месте, он четыре миллиона сто шесть тысяч и двести пятьдесят раз сказал «целую ручки», или «добрый день», или «мое почтение, доктор», видел такое же количество лиц и следил за вдвое большим количеством рук, как бы они ничего не стянули с прилавка; и не важно, что большинство лиц повторялось, были даже такие, на которые он смотрел все сорок пять лет, – это все же был целый народ, более многочисленный, чем многие другие народы под сводом небесным, который Авраам обслуживал, поил-кормил, холил и лелеял; а потом лавка стала работать все хуже, сократился оборот, подскочили закупочные цены, доход уменьшился наполовину, хотя по-прежнему к нему приходило такое же количество людей, двести пятьдесят в день, а то и больше, но Авраам был мудрым торговцем и знал, что магазин нужно продать еще до того, как другие заметят, что его дела пошли плохо.

Лавку Зингеров на Месничкой улице, дом № 5, купил Дане Блажевич, мясник из Оточца, заплатив за нее столько, за сколько в марте 1930-го можно было купить новый лимузин «Форд» или двадцать билетов на пароход в первом классе на линии Ливерпуль – Нью-Йорк. В то время у Авраама Зингера собственных родственников вместе с ближайшими родственниками покойной Рахили было семнадцать. Но на следующий год, в ту пятницу, когда Ивка отправилась его навестить и после чего ее визиты стали частыми и регулярными, цена денег, вырученных продажей магазина, упала до уровня трех четвертей лимузина «Форд» или четырнадцати билетов первого класса, что заставило его забеспокоиться, однако он так и не решился купить золото и таким образом вписаться в мировой экономический кризис и инфляцию. Опасался, что деньги могут ему вскоре понадобиться, хотя и не знал для чего.

От лавки Аврааму остались только книги с записями: тридцать два тома в кожаных переплетах, в которых не только были учтены каждые заработанные пара²⁷ и динар, каждые крона и геллер, но и описана история лавки на Месничкой улице. Первый том был от 1857 года, когда Мосес Зингер купил у Филомены Шварц, вдовы покойного Арона Шварца, знаменитую в те времена лавку «Скобяные товары» и продолжил вести записи в книге Шварца, а произошло это 11 октября вышеуказанного года. Из третьей книги, относящейся к 1862 году, видно, что Мозес Зингер изменил ассортимент лавки и стал торговать мясом, но она, похоже, прогорела уже через два месяца, вероятно из-за того, что людям не хотелось покупать мясо у еврея, и тогда тот же хозяин, то есть дед Авраама, в течение следующих двадцать пять лет, а точнее, до самой смерти, продавал там все что угодно. Например, в одиннадцатой книге Мозеса Авраам обнаружил, что 12 июня 1876 года тот продал некоему Ивеку Вашбауту или Вашбаху четырех взрослых собак, настоящих пастушьих овчарок с Влашича²⁸, с документами, гарантирующими, что они здоровы. После смерти Мозеса, то есть с осени 1887 года, лавкой занимался Барух Зингер, отец Авраама, который через два года превратил лавку ширпотреба в прекрасный магазин колониальных товаров.

Тридцать два тома истории магазина на Месничкой улице, дом № 5, сначала хранились из предосторожности, потому что поди знай, когда и по чьему поклепу нагрянет налоговая инспекция, но кроме того еще и потому, что Авраам Зингер был уверен, что уже на следующий день после того, как он сожжет эти книги с записями, он поймет, что за тайное послание о спасении мира в них содержалось. Авраам верил в Бога и по субботам не работал, однако он не только почитал учение мудрецов, но и еще ожидал для себя особого знака от Бога, и такой знак мог быть послан самым удивительным образом, например через сообщение о продажах 25 числа ноября 1899 года.

– С тобой все хорошо? – спросила его Ивка, а он улыбнулся ей, как ребенку, который ничего не понимает:

²⁷ Па́ра – мелкая монета, сербский динар состоит из 100 пар.

²⁸ Гора в Боснии и Герцеговине.

– Прекрасно, лучше быть не может, – и пошел приготовить ей чай. Весь товар, который остался от его магазина, он продал Райко Живковичу, торговцу с Медвешчака, который хорошо за него заплатил, но не захотел забрать три ящика индийского чая, потому что, по его словам, чай приносит ему несчастья. Поэтому он его не продает в своем магазине и не пьет сам дома. Авраам Зингер перевез ящики на Зеленгай; он подсчитал, что проживет еще сто семь лет, и если будет выпивать в день по две чашки чая плюс еще по две для тех, кто, возможно, зайдет к нему в гости, то весь чай из трех ящиков будет выпит. Почему-то эти расчеты подействовали на него ободряюще, будто Бог станет оберегать его с одной-единственной целью – позволить ему выпить весь этот индийский чай.

Пока закипала вода, отец поставил перед Ивкой серебряный поднос с чашками, на них были изображены сцены охоты на фазанов. На ее чашке – сбор охотников перед дворцом: мужчины в зеленой одежде, на головах шляпы; все усатые, с густыми бровями, похожие на героев народных песен, снимают с плеч ружья, любуются ими. На его чашке – бегущий пес с мертвой птицей в зубах. Между двумя этими сценами прошло некоторое время, отраженное на других чашках, которые остались в буфете. В доме Зингеров всегда пили чай из этих чашек. Она, когда была девочкой, верила, что от того, какую чашку тебе поставят, зависит, каким будет день.

В тот день казалось, что Авраам проживет еще сто шесть лет и три месяца. Она не стала жаловаться ему на Мони, хотя пришла для этого, и рассказывать о женщине, на попечение которой она оставила Руфь. Они пили чай и молчали. Авраам дивился тому, как его дочь кончиками указательного и большого пальца берет фарфоровую ручку и подносит к губам горячую чашку, и рука ее совсем не дрожит.

VI

Соломон Танненбаум оставался бодрствующим за длинным свадебным столом в ресторанчике «Веселые дружки» на Черномерце. Стол не был свадебным: никто в тот день не женился, тем более что это был вторник, а королевская диктатура пока еще свадьбы на вторники не назначала, хотя и такое нельзя было исключить полностью – мало ли что могло прийти в голову генералу Перо Живковичу. От свадебного у стола было только название – так его величал владелец заведения, а потом название это прижилось и у завсегдатаев, потому как ведь и предназначен он был для свадеб, однако маловероятно, что хоть кто-нибудь за последние пятнадцать лет сыграл свадьбу в «Веселых дружках».

С левой и с правой стороны от Эмануэля Кеглевича все заживо полегли ничком – кто от гемишта²⁹, кто от мягкой градацкой ракии-сливовицы, так что на поле боя, кроме Мони, бодрствовал только официант Мичо Буневчич. Мони уговаривал его сесть, но Мичо упорно отказывался, ведь настоящему официанту, когда он прислуживает, садиться не пристало.

– Да отдохни ты, сядь, божий человек, у тебя вены на ногах полопаются!

Мичо только слегка поклонился ему в знак благодарности.

– Садись, глянь в окно, заря занимается.

Официант молчал.

– Хорватская заря, Мичо! Сядь и посмотри на нее.

– ...

– Не хочешь? Не могу поверить, что не хочешь! А ты бы стал смотреть на какую-нибудь другую, например на китайскую, американскую или французскую зарю?

– ...

– Закрываешь глаза на хорватскую зарю, так что ли, бедный мой Мичо, глаза б мои на тебя не смотрели!

– ...

– Открой глаза, чтобы нам не пришлось открывать их тебе! – заплетающимся языком продолжал Эмануэль Кеглевич.

Официант Мичо пошел записать все, что со вчерашнего вечера было съедено и выпито, и принести счет. Пока он разбирал опустошенные бутылки, из зала по-прежнему доносились выкрики единственного не уснувшего гостя, который сейчас встал из-за стола и подошел к Зринскому³⁰, изображенному в полный рост во всю стену, чтобы уговорить его отправиться с ним к Сигетвару и там наконец-то окончательно свести счета с турками:

– Знаешь, Зринкич, что я слышал, – зачастил Мони, – я слышал, что их султан откинул копыта, а значит, если мы сейчас на них навалимся, то погоним их до самого Стамбула, согласен? А как ты думаешь, Зринкич, султан и вправду мертв? – спрашивал он у мрачного вождя на стене, который уже так потемнел от табачного дыма, что от его лица остались только общие очертания да в середине болезненно-желтого белка кружок, заполненный мраком. Но Эмануэль Кеглевич и в таком Зринском нашел себе подходящего собеседника и кивал, пока тот со стены что-то ему рассказывал и выдавал кое-какие важные национальные тайны.

Мичо прервал подсчеты и уставился на человека, разговаривающего с портретом на стене. И попытался понять, то ли Кеглевич просто притворяется, потому что знает, что на него кто-то смотрит, то ли он до такой степени пьяный и чокнутый. Он боялся этого человека, хотя и не мог объяснить себе, почему.

²⁹ Сухое белое вино пополам с минеральной водой.

³⁰ Никола Шубич Зринский (1508–1566) – полководец Фердинанда I, бан Хорватии, прославившийся во время осады османскими войсками города Сигетвара (1566) в ходе австро-турецкой войны (1566–1568).

Часом позже, когда пьяницы начали пробуждаться с головной болью, а Эмануэль Кеглевич, свернувшись калачиком, как ребенок, спал в ногах у Зринского, официант Мичо осознал, что впервые видит его при дневном свете. И сейчас Кеглевич выглядел совсем иначе. Казалось, что он плачет во сне.

VII

Проснувшись утром и увидев, что Мони нет, Ивка испугалась и пошла его искать. Не было и шести, когда она позвонила в дверь Мориней, сперва один раз, потом второй и третий, сгорая при этом от стыда, что будит людей, и желая убежать домой, но речь шла о живом человеке, о ее дорогом Мони, этом муравьишке божьем, который никогда никому не причинил бы никакого зла, даже завязтому пьянице и бабнику. Поэтому Ивка позвонила в четвертый раз, и тогда дверь открыл Радослав, в майке и коротких трусах с расстегнутой ширинкой, в которой виднелись волосы и больше ничего, кроме волос. Это она видела ясно, хотя и была охвачена паникой и должна была бы думать о Мони, а не смотреть на то, на что смотреть не следует, но ей стало как-то легче от того, что она увидела только эти волосы. Она не смогла бы сказать почему, но ей и вправду стало легче.

– Соломон не вернулся, – проговорила она.

– Откуда не вернулся? – спросил он.

– Не знаю, – ответила она, но тут, к счастью, появилась Амалия, в длинной ночной рубашке, с неразбуженными глазами, и не спрашивая, что случилось, обняла ее, а Ивка в ее объятиях расплакалась.

Руфь стояла в стороне и смотрела на них. Они были похожи на двух очень уставших медведей, которые после долгой и длинной дороги встретились в лесу и повисли друг на друге, чтобы отдохнуть.

Мама – медведем поменьше, а тетя Амалия – побольше.

Девочка была счастлива, когда ей сказали, что и сегодня она останется у тети Амалии, хотя это не среда и не пятница, а вторник.

– А мы будем играть в дамочек?

– Будем, тигренок, будем.

Ивка направилась к двери, но не дойдя вернулась и отвела Амалию в сторону, чтобы Руфь не услышала:

– Не давайте ей, благодетельница моя,
пить холодную воду
И потеть, а то потом ветер
продует ей поясницу, прошу вас!
Вчера вот так умерла Златка,
Иешуа Фрайберга маленькая внучка,
На голову ниже Руфи, от холодной воды
и холодного воздуха.
В небо вспорхнула, как ангел!
Богом прошу, в которого вы веруете
И за нас все вы молитесь.
И не бойтесь прикрикнуть,
Если вдруг перестанет слушаться. Или —

Амалия слушала ее, почти выталкивая за дверь, чтобы она поспешила в полицию, в больницу, в морг – туда, где собирается искать мужа. Она могла и ударить эту женщину, обругать или выгнать из своего дома так, чтобы та больше никогда не вернулась, потому что по-прежнему считала Амалию ненормальной, которая могла бы причинить ребенку зло.

– Ох, дорогая госпожа, как же я зла, так зла, что сейчас просто лопну от злобности!

– Правильно говорить «от злости», а не «от злобности», – ответила Амалия, разбивая над сковородой яйца.

– Все равно, – сказала Руфь, прилаживая кудряшку над левым глазом так же, как у Амалии.

– Прекрати, – посмотрела та на нее каким-то особым взглядом, о котором трудно сказать, что он значит и кому предназначен, но уж наверняка не двухлетнему ребенку. Руфь встрепнулась, потом сделала круг вокруг кухонного стола, потом стала выдвигать и задвигать ящик, в котором позвякивали ножи, ложки и вилки, – она знала, что тетю Амалию это еще как раздражает: задвинуть-выдвинуть, задвинуть-выдвинуть, задвинуть-выдвинуть, но поскольку та не реагировала, а разбивала уже двенадцатое яйцо, Руфь побежала в комнату, где Раде собирался на работу. Он стоял перед зеркалом и прилаживал к рубашке воротник, потом чистил от невидимых ниток фуражку и подкручивал усы, чтобы они не выглядели как у городского франта, а приличествовали бы зрелому мужчине, который служит на железнодорожной станции в Новской. Он уже перестал надеяться, что его переведут в Загреб, больно долго он этого ждет, двенадцать лет прошло, как написал первую просьбу, и теперь было бы разумнее им с Амалией переехать в Новску, однако когда он упомянул ей об этом, у нее случился приступ истерии.

Руфь стояла в дверях и смотрела на него. Раде, которого она называла Ядо даже после того, как два месяца назад в первый раз произнесла звук «р» и уже перекатывала во рту и мамино французское «р», был не одним человеком, а двумя. Тогда, когда он в трусах, дома, или в деревенских штанах-чакширах, или в серой рабочей одежде, которую надевал, если в свободные воскресные дни перетаскивал дрова или уголь в подвалы домов между Илицкой площадью и улицей Палмотича, Радо-Ядо был добродушным джинном, который весело покрикивал, передразнивал того некрасивого толстого друга Маленького бродяги, брал Руфь на руки и подбрасывал вверх, почти до самого потолка, а она визжала от радости и волнения.

Другой Ядо, страшный Ядо, как раз сейчас стоял прямой и крепкий, как деревянная палка, весь превратившийся в железнодорожную форму, с синим ледяным взглядом, который ее пугал, потому что ей казалось, что Ядо на нее сердится. Но она не убегала, и представляла себе его усы под своим носом, и чистила от невидимых ворсинок невидимую фуражку – только это у нее как-то не получалось, а Руфь, если у нее не получалось в кого-то превращаться, всегда сама это знала. Вообще-то ей было грустно, что тетя Амалия жарит яйца вместо того, чтобы играть с ней в дамочек.

В это время Ивка была уже на Петриньской, в полиции. Начала она с того, что сказала привратнику, мрачному, с низким лбом, которому, похоже, отрезали язык:

– У меня муж пропал!

Он ей ничего не ответил, просто молча пялился перед собой даже тогда, когда Ивка повторила громче:

– У меня муж пропал!

А когда она попыталась пройти мимо него, он сделал шаг в сторону, чтобы преградить ей дорогу, и Ивка врезалась в него, отскочила от его пуза, твердого, как герцеговинская скала, на нее дохнуло нафталином и чесноком, и она чуть не упала навзничь.

Поняв, что так ей не пройти, она стала ждать, когда появится кто-нибудь, кто ей поможет:

– У меня муж пропал!

Она повторяла это всякий раз, когда видела кого-то похожего на официальное лицо, а потом появился представительный жандарм, как из журнала мод, настоящий богатырь, по образу которого наш Иван Мештрович³¹ создаст, если еще не создал, статую сербского героя с Каймакчалана.

– У меня муж пропал!

³¹ Всемирно известный хорватский и югославский скульптор.

Крикнула она ему вслед, и жандарм вернулся:

– А откуда он пропал?

– Сегодня утром не вернулся домой.

– Из кафаны? – улыбнулся красивый жандарм.

В тот момент ей захотелось солгать, потому что это же стыд и срам – признаться незнакомому человеку в том, что у нее такой муж, который каждую ночь проводит в пивной, но она вовремя поняла, что в этом нет смысла: она все-таки в полиции, им нельзя лгать, если она хочет, чтобы они нашли Мони.

А этого она желала больше, чем чего бы то ни было в жизни. Дорогой Мони, добрый Мони, повторяла она в смертельном страхе, что может остаться с Руфью одна. Пока она спешила к Петриньской, ей виделось, как он, весь окровавленный, лежит в придорожной канаве или как у него, когда он, пьяный, шел по темной улице рядом с пивоварней, украли бумажник, а когда он попытался его вернуть, воткнули нож между ребрами, или же что у него просто-напросто случился удар, что он мертв, без документов в карманах, люди не знают, кому надо сообщить, что он лежит в городском морге, в прозектуре, среди младенцев с деформированными головами и несвежих самоубийц, или на каком-нибудь полицейском складе, там, откуда жены выходят вдовами. Она должна сказать правду, чтобы стереть все эти страшные картины и найти его, живого и здорового:

– Да, из кафаны! – сказала она и посмотрела жандарму прямо в глаза. Ивка еще никогда так ласково не смотрела ни на какого мужчину. Но сейчас пришлось, мама ей это простит, если сейчас глядит на нее с неба.

Он отвел ее на второй этаж, к кабинету номер двенадцать.

– У меня муж пропал!

Из кабинета номер двенадцать без каких-либо дополнительных вопросов ее направили на второй этаж, в кабинет в самом конце коридора, к следователю Третьего отдела Владимиру Хорватху, как сообщала табличка на его двери. Это был истощенный пожилой мужчина с лицом, похожим на покрытую пылью сморщенную сухую сливу. Он сидел за столом точно под скошенным окном на крыше здания, читал газету и курил, как человек, который в последние двадцать лет, ну, или уж по крайней мере со дня убийства престолонаследника в Сараеве, не занимался никаким делом, а просто сидел и старел.

– Имя, фамилия, год рождения, цвет волос, цвет глаз, особые приметы, будьте любезны, все по порядку! – продекламировал он, как официант, перечисляющий виды салата, с ручкой наготове и обычной школьной тетрадкой на столе.

Танненбаум, урожденная Зингер! Услышав фамилию, он было оживился, но почти тут же впал в глубочайшую летаргию. Записал все сведения, однако каждым движением руки, каждым подавленным зевком, заметным по подергиванию его огромных ушей, покрытых сеткой синих и красных капилляров, каждым взглядом на входную дверь или на фотографию короля Александра и королевы Марии – абсолютно всем этот начальник Хорватх давал понять, что ему и в голову не придет разыскивать какого-то Зингера, Танненбаума, или как там его, и что, как только женщина покинет кабинет, он вырвет из тетради исписанный лист и бросит его в корзинку для мусора.

Она видела это и чувствовала, как растет в ней ярость.

– Зингер, Зингер, – задумчиво повторил сухощавый следователь, когда все уже было записано и подписано.

– Да, Зингер! – вскрикнула она. Хорватх испугался и вскочил со стула. Размахивая руками, словно в здании пожар, двинулся он по коридору, ища кого-нибудь, кто уведет отсюда эту истеричку. Подбежали двое, схватили Ивку под руки и потащили на первый этаж. Она рыдала все время, пока снова не оказалась на улице. Тут она быстро взяла себя в руки, опасаясь, как бы не столкнулась с кем-нибудь из знакомых.

Эх, Мони, дорогой Мони, нет у тебя ума даже столько, сколько у бедняка в каше шафрана, только бы ты был жив, пусть даже не мог бы ходить и говорить, стал бы фиалкой в фаянсовой вазочке, травинкой и больше ничем другим, пусть даже ты бы только напивался и таскался по шлюхам, но только бы ты был жив, и пусть проклянет меня Бог, если я пожелаю чего-нибудь большего!

Ивкино желание исполнилось: в этот момент он уже лежал в кровати, на улице Гундулича, дом № 11, и отчаянно пытался остановить движение потолка, который вращался у него над головой с неожиданными перепадами скорости и переменами направления. Но ей не пришлось в голову искать его дома, и она доехала на трамвае до Черномерца и, надеясь найти мужа, отправилась от одной корчмы к другой.

Не было женщины более несчастной, чем она, и не было клятв более страшных, чем она, Ивка Танненбаум, могла дать Богу и людям, только бы отыскать мужа живым.

Должно быть, в то же самое время, когда Ивку выдворяли из здания полиции, Амалия поставила на середину стола большой сотейник с глазуньей из двенадцати яиц с нарезанным стружкой и обжаренным копченым салом по краям. Раде разломил хлеб, перекрестился и произнес слова молитвы. Руфь следила за его движениями, но когда она прижала руку к сердцу, то есть обратилась к Святому Духу, Амалия шлепнула ее по руке:

– Не делай так, сто раз тебе говорила!

Девочка засмеялась и снова попыталась перекреститься, но тетя Амалия взяла ее за руку:

– Прекрати это, чертенок еврейский!

Вот так она на нее прикрикнула, и Руфи ее беспокойство показалось очень забавным, потому что она откуда-то знала или чувствовала, что за всем этим нет ничего серьезного, никакого крика, никаких слез, никаких шлепков по попе, поэтому она попыталась высвободить руку, чтобы перекреститься как Радо-Ядо, который, вспомнив, что через два дня праздник – день рождения короля, снял с себя перед завтраком форму: побоялся посадить на нее пятно. А стоит Радо-Ядо освободиться от формы, Руфи сразу становится легче, Руфь ничего не боится и, к ужасу тети Амалии, крестится. Как будто она крещеная душа, а не жалкая маленькая цыганка, даже хуже, чем цыганка, которая, как и все ее сородичи, закончит жизнь там, где ничего нет: не увидит ни лица Иисуса Христа, ни геенны огненной, а будет веки вечные находиться там, где нет ни света, ни тьмы, где она и не есть и все равно есть, ни с Богом, ни без Него, между небом и землей, в таком месте, где нет слов, которыми можно было бы его описать. И когда тем, кто убил собственного брата, и кто обесчестил сестру и мать, и кто ограбил и поджег церковь, однажды будет все прощено, когда и такие расскаются в своих грехах, даже и тогда будет оставаться пустое место, где нет ни света, ни тьмы и где будут пребывать еврейские души.

Амалия верила, что и это по заслугам, так же как и по заслугам все, что делает Бог с людьми, и не следует слишком много думать о его намерениях, но все равно время от времени ей становилось жалко девочку, и тогда она обращала молитвы за нее к тому, кто искупает грехи мира; вот только ей и самой не было ясно, чего ждать от такой молитвы, коль скоро судьба Руфи заранее предопределена.

Она не позволяла ей креститься, потому что ее крест – это то же, что и хула в адрес Бога. Распятие на кресте Сына Божьего.

Нужно было время, чтобы произошло нечто, что отвлечет внимание Руфи.

– Эх, женщины, женщины, яичница-то остывает, а вы все выщипываете друг у друга перья, как будто вы индюшки, а не человеческие создания! – попытался вмешаться Раде, ущипнул Руфь за щеку, брызнул водой из графина, но ничего не помогало и ему это надоело, а если он сейчас не поспешит, то опоздает на поезд до Новской, так что он взял кусок хлеба и принялся обмакивать его в сотейник.

– Я у тебя съем все желтое! – сказал он, и этого было достаточно, чтобы Руфь забыла перекреститься.

– Нет, подожди! – закричала она тут же, так что тетя Амалия не успела выпустить ее руку. То, что Радо-Ядо мог слопать все двенадцать желтков, было очень страшно, может быть, ничего страшнее в жизни Руфи пока даже не было, это нельзя было и сравнивать с теми запрещенными движениями и словами *отченашкоторыйнанебесахдасвятитсяимятвоодапридетцарствиетвое*, которые она не смела произносить, потому что и это тетя Амалия ей запрещала. А разве найдется такой глупец, для которого какое-то слово, не важно какое, просто слово, будет важнее, чем желтое из яйца? Если такой и есть, а Руфь еще не знала, что есть, пусть он всегда и ест от яйца только белое, а желтое пусть едят другие.

VIII

Пришла зима 1933 года, когда Соломона Танненбаума начали мучить частые приступы желчи. Он скрючившись лежал на кровати и не мог выговорить ни слова, настолько было ему больно, а Ивка стояла над ним, но ни разу, буквально ни разу, не положила ему руку на плечо, не погладила по голове и не произнесла в утешение несколько слов, которые никогда не лечат и не уменьшают боль, но благодаря им человек не живет один, как пес, а женится, выходит замуж, с кем-то дружит, ищет кого-то, кто всякий раз, когда потребуется, прикоснется к нему ладонью, да и глаза ему закроет в час, когда он сам сделать это уже не сможет.

Он хотел бы спросить ее, почему теперь она стала такой, почему не поможет ему, как бывало когда-то, но он не может, потому что ему так больно, что он не в состоянии произнести ни слова или позвать Ивку с ее ладонью. А когда приступ кончается, когда больше не больно, он боится Ивки, прячет от нее глаза и не спрашивает того, на что знает ответы.

Из месяца в месяц, и в прошлом, и в позапрошлом году, всегда, когда хотелось немного затаиться от людей или когда начинались дожди, по Черно-мерцу и Кустошии рассказывали о сумасшедшей женщине, вероятно еврейке, которая в тот день шла из корчмы в корчму и искала своего мужа. Ты только представь себе, говорили благородному Кеглевичу местные авантюристы, карманники и мелкие жулики, эта сумасшедшая и колдунья, проклятая ведьма, пришла аж на Черномерец и даже еще дальше, в самые далекие места, и принялась таскаться по пивным, куда ни одна женская нога никогда не ступала, разыскивала своего Соломона. Как будто этот Соломон – виноградная улитка, и его можно найти на первом же кусте загорского винограда или на оплетенной бутылки с благословенным вином у нашего дона Стиепана, которого злопыхатели, безбожники и клятвопреступники называют преподобным Фаллосом.

– Вы можете себе представить, господин Эмануэль, да хранит вас Бог, еврейку, которая верит, что среди нас может найти своего мужа! Разве вам, простите, это не кажется несколько оскорбительным? Она прошла километр от конечной остановки трамвая и оказалась перед деревянным распятием, тем, который поставили переселенцы из Бедни, когда их староста вернулся из Галиции³². Потом она отправилась налево и прошла триста шагов, до нового распятия, перед домом Брозов. Вы следите за тем, что я говорю, господин Эмануэль, да хранит вас Бог? Перед вторым деревянным Христом еврейка остановилась, а потом она остановится еще перед двумя по дороге в корчму «К бешеным псам» Ковача – верите вы или нет, она и туда добралась, она и после четвертого распятия думала, что у «Бешеных псов» Ковача найдет своего еврейского мужа. Ведь это же неслыханно, почтенный господин Эмануэль, не так ли?

Так рассказывал бедному Мони, дыша ему прямо в лицо смертью и гемиштом, педик по имени Алойз Винек, конюх и парень на побегушках у старых Богдановичей; именно он, по крайней мере так говорили, нанес киркой *coup de grâces*³³ Крсте Продану, – тот, даже когда ему стали отрубать палец за пальцем, так и не признался, куда подевались деньги, взятые взаймы у купрешан, а только кричал:

– Украли у меня те деньги, простите, если вы люди!

– Э-э, мы не люди, – отвечал ему Йозина, – может, когда и были людьми, да только те времена давно забыты.

Вот, значит, этот самый Винек и пересказывал во всех подробностях, как проходило путешествие той странной женщины, которая искала мужа. Он описывал корчмы, пивные, забега-ловки, ресторанички и постоялые дворы, куда она заходила, чтобы спросить про своего Соло-

³² Речь идет о возвращении с войны.

³³ Удар милосердия (*фр.*).

мона, рассказывал, как люди на это реагировали, кто что говорил, причем, похоже, запомнил он каждое слово, а может, просто ловко придумывал.

Поначалу, от неожиданности и удивления, люди не понимали, кто она такая. Потом думали, что сумасшедшая, а позже уверовали в то, что речь идет о потаскухе, ибо с чего бы ей в другом случае взывать к Соломону и тем самым признаваться в том, что она еврейка? Да и вообще, какая приличная женщина скажет о себе, что она еврейка, если ее об этом никто не спрашивает, и опять же, разве нормальная женщина станет заходить в корчмы и пивные, куда женская нога никогда не ступала?

Все были уверены, что она потаскуха.

– Именно так, господин Эмануэль, да хранит вас Бог, и жалко, что вас не было в тот день, когда она пришла сюда. Вы бы повеселились, правда или, может, я ошибаюсь? – спросил его Винек.

Достопочтенный Кеглевич, наш бедный Мони, ничего ему не ответил, хотя Лойзека очень интересовало, а вдруг и он – такое среди благородных гостей не редкость, особенно среди тех грешников, которых родня лишила права на наследство, – как раз один из тех, кто не прельстился бы той потаскухой, да и вообще любой женщиной, пусть даже самой порядочной. А интересовало это Лойзека Винека, убийцу с киркой, потому что и он был человеком одиноким, очень нуждающимся в ладони, которая опустится ему на лоб и однажды закроет его глаза.

Мони никогда не узнал, что произошло с Ив-кой в тот день, когда она его разыскивала, и от нее самой не слышал ничего об этом. Она лишь призналась в том, что ходила в полицию, заявить о его исчезновении, и не более того. Но буйные фантазии местных бездельников и сплетников не утихали месяцами, они никак не могли выкинуть из головы прекрасную еврейку с большими глазами, в которых могли бы утонуть оба имотских озера³⁴, как в поэтическом угаре заявил один из них, а Эмануэлю Кеглевичу они в мельчайших деталях описывали, как в тот день предавались любви с ней и как она всех, человек двадцать, приняла в свои недра, да так, будто каждого из них она желала и мечтала о нем всю свою жизнь.

Он знал, что все это выдумки, и мог бы переносить такие рассказы из ночи в ночь, если бы от него не ждали, что он что-то скажет. Тогда, в те месяцы, у него и заболел желчный пузырь. И эта боль была от Ивки.

Но когда зимой 1933 года приступы участились и не проходило ни дня, чтобы он не сидел на кровати согнувшись от боли, Соломон Танненбаум думал о том, что теперь только эта желчь и зовется Соломоном, а все остальное приобрело другие имена или же и вовсе никак не называется. Та, которая сейчас стоит над ним, делает это не от любви, а по обязанности или из какого-то долга, который сознательно взяла на себя и теперь выполняет без особого желания, но будет выполнять его до конца.

В начале февраля выпало много снега, люди из домов особо не выходили, а Георгий Медакович закрыл свою контору до дней, когда погода станет лучше или же настолько хуже, что народ начнет умирать, и тут уж будет что записывать. Мони все утро скрючившись стоял на коленях рядом с кроватью и тихо стонал. Он был похож на старого турка из народной песни, который прощается с жизнью: в последний раз бы помолился Богу, но даже этого не может. Кожа его была желто-серой, как кожа залежавшегося подгнившего лимона из когда-то принадлежавшей Зингеру лавки, который, ясно, никто уже не купит, но его по какой-то инерции никак не соберутся выбросить в мусор, и он лежит в ящике, на прилавке, и портит репутацию хозяина. Если бы речь не шла о желчном пузыре, каждый, кто в те дни видел Мони, считал, что жизни в нем не осталось совсем, еще месяц-два – и он переселится в лучший из миров, однако стоило узнать, что все дело в желчи, каждый вздыхал с облегчением и спешил с сове-

³⁴ Голубое и Красное озера, лежащие в глубоких карстовых воронках в окрестностях городка Имотски в Южной Хорватии.

тами насчет разных чаев, лесных ягод и корней растений, а болезнь казалась не особо серьезной. Ну, если не несерьезной, то уж по крайней мере заслуженной.

В разгар метели, которая снова обрушилась на город за несколько минут до полудня и разогнала даже тех немногих, кто прокладывал тропинку по Илице и Гундуличевой, словно услышав, что его вспоминают, появился старый Авраам Зингер. За последние три года в первый раз пришел навестить их. Он избегал зятя так же, как избегают и откладывают в сторону дурные вести, и старался ничего о нем не знать, но все равно все слышал – то кто-то расскажет ему что-то перед синагогой, то из разговоров о каком-то якобы неизвестном человеке узнаёт о Соломоне все самое худшее.

Так, однажды он обрезал яблони в саду за своим домом, а его сосед, Стиепо Браутович, католик, но из таких, с которыми у Авраама всю жизнь было больше общего, чем с любым из загребских евреев, стоял возле забора и восхищался тем, что тот делает:

– Видишь, Зингер мой, как это получается, по любому этому дереву видно, что оно твое, что твоя рука его подрезала, возвращала ему силу и направляла, куда ему расти. И по каждому яблоку будет видно, что оно с дерева Зингера, по тому, шишковатое оно или круглое, насколько кислое или сладкое. А как иначе, обрезка яблони – это как вероучение: так же как различаются книги католиков и евреев, различаются и деревья, по рукам, которые их подрезают. Хороши и те и другие, но они разные, – мудрствовал Браутович, сам родом из окрестностей Дубровника, которого даже шестьдесят загребских лет не отучили от медленного и долгого, по всем признакам ориентального, приближения к тому, что хочешь рассказать. Авраам не мешал ему вот так вот разглагольствовать, подстерегая момент, когда сможет понять, о чем, собственно, идет речь.

– Так вот, Зингер мой, если бы люди это знали, у них не было бы никаких трудностей друг с другом. Только если бы знали, что отличаются друг от друга, как сады. Не убивали бы друг друга из-за веры. И у них не было бы потребности стыдиться и скрывать, каковы они. Не скажу, что и я не мог бы подрезать твои яблони так же, как мог бы и ты мои, но стал бы мир от этого более счастливым? А яблони стали бы тогда приносить больше яблок? Думаю, что нет. Вот знаешь, был один человек по имени Светко Обад, и ему надоело быть католиком. Насмотрелся он по Дубровнику и по Жупе всяких ужасов и подумал, что у турок такого нет. И что же сделал этот Светко? Вместо того чтобы отправиться в Боснию и там потуречиться, коль он такой дурак и думает, что туркам лучше и легче, чем нашим, он пошел в Требине или в Гачко и остался там на месяц; представлялся как Мустафа и был, поверишь ли, хорошо принят турками, намного лучше, чем принимали его свои в те месяцы, пока он был Свет-ко. А когда у него кончились деньги, потому что как Мустафа он ничем не занимался, не работал, он возвращался в Жупу, к жене и ребенку, и брался за дела, и работал, пока не заработает столько, чтобы снова быть турком. Ему было безразлично, что его ребенку нечего есть, ему было важно только быть над кем-нибудь господином и не бояться более сильных и могущественных, то есть турок, – продолжал рассказывать Стиепо Браутович, а старый Авраам Зингер перестал подрезать деревья, стоял, слушал и никак не мог понять, о ком и о чем, в сущности, Стиепо говорит. Спрашивать его было нельзя, потому что, если спросишь, вообще ничего никогда не узнаешь.

– А потом, Зингер мой, турки его разоблачили. Даже штаны с него сняли: посмотреть, обрезан он или нет, и ему не помогло, что он кричал и умолял, говорил им, что он еще больший магометанин, чем они, и наизусть читал все их молитвы. Звал их отправиться вместе с ним в Дубровник, чтобы захватить его для пользы и радости турецкого султана и открыть там мечеть. Он готов возглавить поход, чтобы показать, насколько он турок. И все это оказалось напрасным, поскольку он Светко, а не Мустафа. Эх, Светко, Светко, не дал тебе Бог ума даже столько, сколько у бедняка в каше шафрана! Три дня его в Требине мучили, а потом убили. Тело отправили в Дубровник, а вместе с телом и эту историю, – закончил свой рассказ Стиепо.

Целыми днями потом думал Авраам Зингер, не о его ли зяте та история, которую он услышал от Стиепо. Если да, то что в ней правильно, что лишь украшение, чтобы рассказ был занимательным, а что говорит о скрытой сути греха Соломона? Возможно, Стиепо раз или два видел Мони, возможно, о нем лишь что-то слышал, а теперь судит – по правде говоря, правильно – на основе первого впечатления. Но что если он знает о Соломоне гораздо больше, и ничего не выдумывает, и не говорит о сути, а говорит о действительности, той самой, полицейской, которая в нынешние времена только одна и может называться действительностью, к ужасу Зингера?

В конце концов Авраам Зингер решил, что проблемы с желчным пузырем Мони – это Божий дар. Но тот, чье имя не упоминают всуе, спасал этого несчастного не ради него самого, а ради Ивки и Руфи. Вот во что верилось в ту зиму Аврааму, и ровно в это в ту зиму верилось и другим, пока Загреб засыпало снегом, а в корчмах на западной окраине города встревоженно обсуждали, почему Эмануэль, благородный Кеглевич не появляется уже месяц, а то и два.

Итак, старик Зингер добрался до Гундуличевой, № 11, одновременно румяный и поси-невший, взял на руки Руфь, а она затряслась от холода и крикнула:

– Бр-р-р-р! Дедушка, дедушка, ты что, убежал от эскимосов и прибежал к нам, чтобы мы тебя спрятали?

Скоро комната была засыпана финиками, крупными и липкими, заполнена визгом, детской беготней по паркету, громкими выкриками и смехом, долгим, беспричинным женским смехом, по которому старик Зингер сделал вывод, что его дочке нехорошо. А когда он ей об этом сказал, осторожно, шепотом, она удивилась и произнесла – «но, папа...», а потом надолго задумалась и не смогла вспомнить, какими бы словами можно было продолжила это – «но, папа». Бросилась к Руфи, потому что Руфь забиралась на спинку кресла, и Ивке все время казалось, что она упадет и сломает себе шею.

Он тогда сел возле Мони на пол, по-турецки, как на старых литографиях, обнял его и сказал:

– Мой магазин теперь стоит всего как четыре билета до Америки в первом классе. Если мы купим три билета, а я останусь в Загребе, у вас хватит денег на два месяца. Об этом я хотел бы поговорить.

Если даже в тот момент Соломона Танненбаума и не мучил желчный пузырь, он окаменел в позе умирающего визиря, как будто у него колика, и хотел только одного – чтобы Авраам Зингер как можно скорее отправился к себе домой. Позже он обнимал Ивку, целовал ее и говорил ей, что тесть стареет и ему все стало трудно. Может быть, скоро он не сможет завязать шнурки на ботинках, встать, чтобы налить себе стакан воды. Он выглядит все более растерянным, дорогой наш папа, все более встревоженным. Ему нелегко в мире автомобилей, кино, аэропланов, цеппелинов, среди всего этого мира и этой скорости, бензиновых моторов и электрических печек; Мони разводил в стороны руки, чтобы показать, как широки крылья самолетов и как трудно стало теперь Аврааму, старому, богобоязненному еврею, ум которого работает тем медленнее, чем быстрее становится жизнь.

Говорил Ивке, что, может быть, бедному папе потребуется помощь, как потребовалась она и Мониному папе, покойному злому Давиду, и доброй тете Ривке, которые, и он и она, последние десять лет жизни провели, не зная, как их зовут и что это за люди рядом с ними. Злой папа Давид верил, что эта его родня – братья, сестры, жена Мейрем, э-э, мама, мама, бедная и усталая мама, – заплакал Мони, – папа верил, что все они, даже Мейрем, – это Гоги и Магоги, гадкие карликовые народы, которые от имени сатаны предвещают Судный день, и гнал их от себя целых десять лет. Но они заботились о нем так, будто он хороший, и как, не дай Бог, придется заботиться о дорогом папе Аврааме, и как заботились о хорошей Ривке, которая никогда не была замужем и ни к одному мужчине не прикоснулась, а потом, перед воротами геенны, забыла, кого как зовут и, к ужасу всей семьи, задержалась перед этими воротами еще на

целых десять лет. О, как же было тяжело смотреть за хорошей и тихой тетей Ривкой, ухаживать за ней, поить и кормить ее!

А может, он уже постепенно уходит, дорогой папа Авраам, этого никогда не знаешь наперед! Он бы хотел купить билеты на пароход, притом в каюту первого класса, и отправиться в Америку. Разве это не подтверждает, что дорогой папа Авраам уходит? Потому как что бы мы все делали в Америке, именно мы, Зингеры и Танненбаумы, и на что бы было похоже, если бы весь Загреб переселился в Америку, если бы каждая семья послушалась своего дорогого папу и, скатертью дорожка, на пароход, в Нью-Йорк? Пустым остался бы без нас этот город, Гундуличева больше не была бы Гундуличевой, а и Илица не была бы Илицей, а Зриневац, – тут слезы снова потекли по щекам Мони, – а кафедральный собор, а Долац, который пахнет македонскими арбузами, а господин Ханжекович, который следит за городскими часами... Везде было бы пусто и никто никому не смог бы сказать – «пардон, господин!» Так бы оно и было, если бы мы послушались дорогого папу Авраама и всех наших дорогих папочек, покинули бы Загреб и отправились в Америку.

А что это – Америка, где она, да и существует ли, или же мы, когда перед началом фильма смотрим киножурнал, ее себе только представляем, а на самом деле ничего такого и нет?

Нужно было бы как можно скорее, может быть, даже прямо завтра, найти кого-то, кто будет помогать папе Аврааму, кто будет за ним смотреть, чтобы он себе не навредил, гнать от него черные мысли, разволновался Мони и чуть было не выбежал на улицу, в снег, чтобы схватить старого Зингера до того, как тот нанесет себе какой-то вред. Настолько бедняга перепугался и настолько его, несчастного, обогнало это современное электрическое время, вся эта дикарская музыка, джаз, свинг и африканские барабаны, что он вообразил, будто новый германский канцлер, господин Гитлер, может причинить нам какое-то зло. Словно он лев из Максимира, которого выпустили из клетки прогуляться до площади Елачича, или же сумасшедший из Стеневаца³⁵, насильник и матереубийца, а не приличный господин, как сказали бы в Загребе, чей «пардон» стоит в сто раз дороже «пардона» принца Павла, единственного истинного аристократа среди всей королевской родни.

Он обнимал и целовал ее, но Ивка ничего не сказала ни насчет доброго папы Авраама, ни насчет того, что его слова звучат безумно, ни того, что нужно найти кого-то, кто доброму папе Аврааму подаст стакан воды. Оставила Мони сжиматься в размерах перед своими страхами.

³⁵ Психиатрическая больница в окрестностях Загреба.

IX

А потом, пятого марта, в «Новостях», в «Утренней газете» и в столичной «Политике» было опубликовано сообщение, что в Запрешиче, недалеко от Загреба, схвачена банда разбойников, которые почти два года назад мучили, а потом убили крестьянина Крсту Продана и его жену Илонку, а их восьмерых дочерей обесчестили. В тот день продажа газет достигла пика; убийство министра внутренних дел Драшковича, покушение в белградской скупшине, смерть Рудольфа Валентино и крах на нью-йоркской бирже не могли сравниться с трагической судьбой несчастных Проданов и их восьмерых дочерей. Народный поэт и гуслияр Илия Злоушич в тот же день воспел страшное событие и на главной площади в Имотски перед множеством собравшихся исполнил «Смерть хорватского мученика Крсты Продана и прекрасной Илонки», однако не полностью, ибо в середине песни появились жандармы, все на лошадях, разогнали народ, а Илию Злоушича арестовали. В Дервенте среди бела дня кто-то поразбивал окна православной церкви, и это событие тоже связывали с шокирующими описаниями в прессе кошмара, имевшего место неподалеку от Загреба, который, видимо, в интересах следствия, скрывали от граждан до тех пор, пока убийцы не были обнаружены и схвачены. Но ввиду того, что их имена были оглашены не сразу, люди, в зависимости от местных интересов и потребностей, начали фантазировать и выдумывать что-то свое. В Загребе в основном говорили, что арестованные убийцы – цыгане, бродячие лудильщики откуда-то из Чачака или Валева, а их имена не опубликованы по распоряжению министра Евтича, чью супругу в эти дни осматривал и лечил тот самый гинеколог Миклошич, но что Евтичева жена была у него не ради аборта, а ровно наоборот – она бездетна, а вы же знаете, как на такое смотрят у сербов, они же, да простят меня Бог и Дева Мария, называют женщину из такого брака пустоцветом – слышите, какое грубое слово? Но дело оказалось еще хуже: про ее мужа говорят, что он голубой, ну, педераст, если вы меня понимаете! Э, а теперь представьте себе, какая возникает государственная проблема, когда весь Белград раструбил и рассказал о том, что министр иностранных дел Боголюб Евтич – педераст.

Миклошич, разумеется, обо всем этом знал и, проанализировав истерию Евтички, как гадалка изучает кофейную гущу на дне чашечки, совершенно точно установил и сообщил гражданам Загреба, что убийцы Проданов – это Йовановичи, Джорджевичи и Караклаичи из Чачака и они по своей расовой, социальной и всякой другой принадлежности – цыгане. Но, дорогая моя, – шептались и хихикали аристократки из Верхнего города, все эти генеральши и целый табор хрупких и благородных дамочек из салона Миклошича, – скажите на милость, какая может быть разница между цыганами и сербами, особенно если это Йовановичи, да к тому же еще из Чачака?

Те, кто проще и простодушнее, считали, что трагедия Проданов связана с темными и необъяснимыми силами. Так, в частности, того же пятого марта стало доподлинно известно, что вместе с остальными схвачена и ведьма, которая из хилой груди еще живой Илонки вырвала сердце и прямо у нее на глазах его съела, причем несчастная женщина, вот такая, без сердца, произносила *Радуйся, маршо*. Ведьма сказала Илонке, что та умрет, как только прекратит молиться, так что страдальца преставилась только через три дня и три ночи, когда перестала без передышки повторять *Радуйся, мария*. А в Загорье и в Босанской Крайне вся эта история приписывалась сообществу вампиров или упырей, которые были активны давно и, кто знает, сколько народа они поубивали и сколько домов заставили горевать, но об этом до сих пор ничего не говорили и полиция их не искала. Почему не говорили, этого никто сказать не хотел, однако казалось, что о вампирах и упырях уже всем все известно.

А Соломон Танненбаум больше не чувствовал своей желчи. Нельзя сказать, что желчный пузырь его не беспокоил, может, и беспокоил, но боль, так же как и любая другая, до него

не добиралась. Кто знает, в который раз перечитывал он газетные сообщения и ждал, что с лестницы раздастся топот сапог, страшный, как тот, когда хоронили Стиепана Радича, ждал, что услышит звонок и стук в дверь, и панически обдумывал, что сказать Ивке, когда его будут забирать. Она поверит, что он убил Крсту и Илонку, а когда ему вынесут смертный приговор и когда затем, на заре, где-то на склонах Слемена будут вешать, у него не будет возможности объяснить ей, что произошло.

Надо сказать, что маленький перепуганный Мони потерял к Ивке всякий интерес в тот самый момент, как Авраам Зингер пообещал ему Ивкину руку. До этого он желал ее, а после, надо же, больше нет. Из-за нее он готов был перерезать себе вены в ванне с горячей водой, отравиться газом, выстрелить себе в висок, но все это прошло, как только затих шепот на Пражской, перед синагогой, растворился в воздухе, как облако над городом, и люди забыли, что Ивку после бесчисленных просителей ее руки, которым было отказано, солидных и богатых евреев со всего королевства, получил Соломон, еврей лишь по своему имени, а во всем остальном гой, без роду и племени, ничтожество, без веры и знаний, которого не впустили бы в храм, даже если б мир превратился в геенну, а Соломон остался последним из последних евреев. Вместо того чтобы рядом с Ивкой и ее красотой, рядом с большими глазами, которых дети боятся, а мужчины в них тонут, бедный маленький Мони стал важным и уважаемым, вместо того чтобы через Зингера приобрести авторитет и прославить свою фамилию, пусть даже ради одного только, чтобы на Рош ха-Шана³⁶ дуть в шофар³⁷ *барух ата адонай элохену мелех хаолам ашер кидешану бемицвотав вецивану лшимоа кол шафар*, а на шаббат быть неподвижным, как мертвое тело, как каменный столп, – все это имело бы смысл, если бы только маленький дрожащий Мони стал важным и авторитетным, как какой-нибудь из Зингеров, но вместо того, чтобы все сложилось вот так, получилось наоборот, и Ивка рядом с ним стала невзрачной и несчастной, такой, что никакой мало-мальски образованный и солидный загребский еврей ее не замечал, да и Зингеры больше не были такими, как прежде; в шутку даже говорили, что среди них есть евреи, и притом хорошие евреи, еще есть швейные машины, а есть и те, кто просто совсем никто и ничто.

В то пятое марта, и еще весь следующий месяц, Мони неподвижно сидел на кровати, ждал, когда за ним придут и обдумывал, что сказать Ивке на прощание. Думали, что он болен; Георгий Медакович несколько раз отправлял к нему посыльных с лимонами, апельсинами и разваренной овечьей головой, которая вылечивает все на свете болезни, узнавал, не лучше ли Мони, выздоровеет он или же в конце концов окончит свои дни на смертном ложе от самой странной болезни нашего времени – меланхолии, которая часто начинается именно с приступов желчного пузыря, после чего превращается в печаль, самую глубокую из тех, что можно себе представить, в душевную немощь и длительное смертоносное молчание. Хозяин Георгий не был человеком особо верующим, однако считал, что не может уволить Соломона именно потому, что тот еврей, живущий в имперском и королевском городе Аграме, задыхающемся под белградским сапогом, где и на Георгия, когда он проходит по площади Елачича, косо смотрят только потому, что он православный. А природа вещей такова, что и еврей будет виновен, если народ стал считать виновными православных, решил хозяин и впервые стал воспринимать Соломона как кого-то, кто важен и кто мог бы, если, не дай Бог, положение дел в королевстве не улучшится, стать ему союзником. Да, Георгий родился в Загребе, здесь, недалеко от Зриневца, и здесь родились и его отец, и дед, и прадед и прапрадед, и с тех пор как появились Медаковичи, было известно, что все они родились в Загребе, однако, если вдруг сюда хлынет сброд из Лики и Герцеговины, городские господа защелкнут замки на всех подъездах, ворота запрут на засовы, опустят жалюзи и закроют глаза, пока народный гнев будет преследовать Георгия. И

³⁶ Еврейский Новый год.

³⁷ Шофар – еврейский ритуальный духовой музыкальный инструмент, сделанный из рога животного.

после того, как его схватят и забьют насмерть вместе с остальными аграмцами, которые крепятся тремя пальцами, и после того, как волнения прекратятся, в воскресенье, в кафе «Дубровник» за чашкой какао и рогаликом те же самые господа равнодушно поинтересуются: что-то не видно господина Медаковича, не простудился ли он?

Вот почему Георгий Медакович вдруг стал так внимателен к писарю Танненбауму, хотя в более счастливые времена он бы этого маленького еврейчика, бледного и какого-то никакого, как тефтеля бедняка, уволил со службы и за меньшее нарушение дисциплины, чем месячное отсутствие на рабочем месте, вызванное острой меланхолией. Однако сейчас Соломон ему нужен, и он посылает ему лимоны и апельсины и эту разваренную овечью голову, которая лечит все болезни, потому что он, Медакович, хозяин конторы, надеется с кем-нибудь разделить свой страх, а если же преследования когда-либо начнутся, он будет знать, что по крайней мере одна дверь для него останется открытой.

В конце концов и жандармы за нашим Мони не пришли, и он не придумал, что бы сказать Ивке при расставании. Может быть, это его и спасло: еще не настало время уходить без прощальных слов.

После того как десяток дней в народе множились рассказы и уже была опасность, что каждый из них может лопнуть, как созревший нарыв, и разлиться по улицам, в газетах опубликовали имена схваченных негодяев. Их насчитали четырнадцать, это были представители всех вероучений, по происхождению из всех частей королевства, но большинство всё же из Боснии и Далмации. Руководили бандой три брата, Богдановичи, каждый старше восьмидесяти пяти лет, родом купрешане, первые ордера на их арест были выписаны еще во времена Боснийского пашалыка³⁸.

Вот как писали об этом «Новости»:

«Навряд ли кому-нибудь даже в самом страшном сне могло присниться, что кровожадные гайдуки из народных песен появились на окраине нашего главного, самого большого и самого хорватского города, да к тому же еще спустя пятьдесят с чем-то лет после того, как гордая Босния сбросила с себя цареградское ярмо. Но такая беда пришла к нам, а добропорядочный крестьянин Крсто и его верная жена Илона кровью своей заплатили за этот парадокс истории. Понадеемся, что других жертв братьев Богдановичей и их сообщников нет, ибо если эти бандиты проникали в сам Загреб, то вполне может оказаться, что и в нем они могли кого-нибудь ограбить и убить, а потом исчезнуть. Кто знает, какие ужасы открылись бы следствию, поскольку и из народной песни известно, что такие, как Богдановичи, на одном злодеянии не останавливаются».

Двумя днями позже был объявлен в розыск еще один, пятнадцатый, член банды. Его описывали как мужчину среднего возраста, рост примерно метр и семьдесят пять сантиметров, стройный, голова удлиненная, правильные черты лица, темные волосы и черные глаза, держится по-господски, хорошие манеры. Зовут его Эмануэль Кеглевич, он бывший католический священник, но в каком приходе или монастыре служил, неизвестно.

У Мони немного отлегло от сердца, когда он прочитал в газетах описание Кеглевича, потому как сам он был на двенадцать сантиметров ниже, однако надо же, казался выше тем людям, с которыми годами гулял по ночам. Гораздо выше. Не будь он так взволнован или будь он хоть чуть-чуть умнее, он, возможно, сделал бы из этого некоторые умозаключения, но Бог не дал Соломону, как настоящему Соломону, самому делать слишком много выводов. Поэтому он еще немного врос в землю у себя под ногами и, возможно, стал ниже Эмануэля Кеглевича уже на целых четырнадцать сантиметров.

³⁸ До 1878 г. Босния и Герцеговина, часть Венгрии, Сербии и Хорватии входили в состав так называемого Боснийского пашалыка – османской провинции в северной части Балканского полуострова.

Однако стоило газетам написать, что пятнадцатый разбойник объявлен в розыск, разразился скандал, который через некоторое время полностью затмил историю трагической судьбы Крсто Продана и его Илонки. Семейство благородного Кеглевича заявило, что в их роду нет никаких Эмануэлей, к тому же не было таковых и в последние сто лет. А также, что среди Кеглевичей не было ни попа-расстриги, который бы нарушил данный Богу обет, ни расточительного сына, которого бы отец или братья лишили наследства. Все это оскорбляет род и имя Кеглевичей, древних хорватских аристократов, которые всегда и против каждого завоевателя гордо и отважно служили народу хорватскому. Поэтому нет никакого сомнения, что фантом Эмануэля Кеглевича кем-то выдуман, чтобы свалить вину за маргинальное убийство и разбой на тех, кто безусловно не может иметь ничего общего с такими действиями, а именно на представителей народного духа и имени, на граждан имперского и королевского Аграма, чьи слава и гордость, как написал возмущенный читатель «Новостей», вестимо древнее, чем грязь на остроносых опанках³⁹, которые сегодня топчут его площади и улицы.

Напрасно той весной устраивали поиски пятнадцатого разбойника. Его не только не нашли, но о таком человеке не слышал никто, кроме арестованных бандитов и владельцев и завсегдатаев нескольких пивных из Черномерца и Кустошии.

В конце августа к Соломону Таненбауму вернулись приступы, связанные с желчным пузырем. Он больше не боялся, что за ним придут. Разваренные овечьи головы уже давно не появлялись на Гундуличевой, № 11, выдохлись запахи апельсинов и лимонов, а хозяин Георгий был счастлив, что маленький неказистый Мони, мелкий еврейчик, над которым он подшучивал, когда появлялся у себя в конторе, справился с меланхолией, этой чумой душ нынешних времен.

³⁹ Сербская национальная обувь из кожи, распространенная также и у других славянских народов. Намек на то, что грязь принесли именно сербы после вхождения в Королевство Сербии, Хорватии и Словении.

Х

Во время первых дождей в Загреб приехал цирк «Империи». На площади в конце Драшковиной улицы поставили огромный шатер, полосатый, как зонтик над сундуком мороженщика. Вокруг шатра расположились клетки с дикими животными: львами, тиграми, пумами, волками, медведями, обезьянами, жирафами, возле которых прохаживались сторожа, следя за тем, чтобы чей-нибудь ребенок не подошел слишком близко к решетке или чтобы какой-то болван повзрослее не расхрабрился перед девушками и не потянул за хвост льва, а такое однажды уже произошло, где же это было – в Будапеште или в Праге? – после чего парнишка остался без руки, а «Империи» обязали умертвить льва – как будто зверь виноват, что ему не нравится, когда его дергают за хвост.

Немного в стороне от клеток были расставлены складные столы, за которыми толстые усатые дядьки и морщинистые тетки с щедро накрашенными лицами торговали розовой сахарной ватой, плитками из кунжута на меду, малиновым сиропом и лимонадом. Повсюду сновали лилипуты, они производили невероятный шум и ор на всех известных и неизвестных языках и наречиях, на итальянском, немецком, на идише, на аромунском, венгерском, на языке корсиканских заключенных и даже на том, на котором общаются балканские турки, вступившие в противоречие с законом. Гремели литавры, барабанщики били в барабаны, приглашая на послеполуденные и вечерние представления, а церемониймейстеры в черных фраках, с высокими цилиндрами на головах, провожали заинтересовавшихся в комнату ужасов, в арабский дом и в дом сестры Гулливера – это были три небольших шатра, которые наподобие пограничных укреплений находились на краях поляны.

Целыми днями со всех сторон раздавались визг и гвалт, толклись и старые, и молодые, но больше всего было детворы из начальных школ и гимназистов. Были здесь и городские бездельники и праздношатающиеся, зайки и слепые, старики с сифилитическими носами в боснийских костюмах, которые ходили туда-сюда и предлагали народу за динар или два рассказ о героической битве против турок, были и горбуны, которые для собственного удовольствия жонглировали четырьмя мячиками, попадались и уродцы, искавшие работу в цирке, которым нечего было предложить, кроме своего уродства. Была здесь и вечная пара наперсточников, Штефко и Мишко, которые вот уже тридцать с чем-то лет выкачивают деньги из наивной публики. Штефко следит, не приближается ли полицейский, а Миш-ко на небольшом куске линолеума вертит и переворачивает три коробка от спичек марки «Долац». Под одним коробком шарик, два других пусты, наблюдающий всегда считает – и эта уверенность не покидает его никогда, – что он отгадает, под каким коробком его ждет выигрыш.

Перед цирковой площадью с равнодушным видом прогуливаются господа в элегантных дождевых плащах, в шляпах и с черными лондонскими зонтами. Есть среди них и такие, у кого в руках раскрытая книга: они делают вид, что читают, хотя то и дело стреляют взглядом в народ, толпящийся перед клеткой с тигром, или засматриваются на размякшие груди пожилых циркачек, зазывающих людей к кассе. А другие, у которых в руках нет открытых книг, стоят нахмурившись и поглядывают на часы, потому как, надо же, тот, кого ждут, опаздывает уже как минимум на полчаса, а потом всматриваются в улицу Драшковиной, нет ли там того, кого ждут, а потом в сторону циркового шатра, будто этот некто может выйти оттуда рука об руку с акробаткой Наталией, летающей русской, которой восхищаются Париж, Берлин и Лондон, да что там – ее слава достигла даже Бразилии и бразильских аборигенов, которые до Наталии еще никогда не дивились и не кланялись ни одному белому человеку, даже римскому папе, британской королеве или германскому канцлеру. Возможно, эти господа в дождевых плащах и с одинаковыми зонтами не выглядели бы так необычно, если бы каждый день их не было здесь человек по тридцать. Они появлялись утром, около девяти часов, открывали книги и поглядывали

вали на часы до восьми вечера, когда начинается последнее представление. Тогда они быстро и не прощаясь расходились, каждый в свою сторону. Утомленные стоянием на месте, распухшими мозолями и натертыми во влажных носках ступнями, они уходили, не сделав никакой работы, но завтра будет новый день, цирк все еще остается в нашем городе и, возможно, им повезет больше.

С тех пор как в блуде и разврате погибла Австро-Венгрия, а с ней и неразумные законы, допускавшие разнообразные прегрешения относительно тела и души человека, вот уже целых пятнадцать лет во время циркового сезона прогуливаются по улице Драшковича эти элегантные господа, и до нынешних дней не было бы известно, кто они и что они, эти таинственные мужчины, если бы время от времени не случалось, что кто-то из них устремлялся к большому шатру и, подобно какому-нибудь извращенцу, бросался к группе детей и гимназистов, расталкивая их и ища кого-то своего. А когда находил, то заносил его имя в черную кожаную записную книжку.

Эти господа, в сущности, особые народные духовники, проповедники и вероучители из лучших городских школ, которые несут стражу на границах и крепостных стенах этого города, защищая его честь и общественную нравственность. Учащиеся, которые оказываются записанными в черную записную книжку, могут быть изгнаны из любой школы на территории королевства и, уж во всяком случае, наказаны строгим выговором и признаны сомнительными для общества элементами. А хрупкие барышни из Прекрижья, Ябуковца, Кралевца, которые с открытым сердцем и свойственной молодости наивностью отправились в город и сейчас любуются мускулатурой акробатов и дивятся храбрости юноши, который кладет голову в беззубые челюсти льва, больше никогда не окажутся в этом месте, потому что после того, как их имена занесут в черную записную книжку, их отцы узнают страшную новость, что их дочери оступились и им нужно помочь очистить тела и души от греха. Нужно отдать их в монастырь, чтобы монахини их кормили и заботились о них до тех пор, пока те снова не станут набожными и чистыми, какими их создал Бог себе во славу и на гордость народу.

Руфь изо дня в день надоедала маме Ивке, хныкала перед сном и прыгала на спину папы Мони, сидевшего согнувшись на краю кровати и страдающего от физической и душевной боли; она кричала, что пусть ее поведут в цирк посмотреть на тётенек, которые летают по воздуху, и слонов, которые машут ушами. Пусть покажут ей бегемота и черепаху, бенгальского и сибирского тигров и тасманское чудовище, самое несчастное из всех чудовищ, плачущее по своей Тасмании, а сторожа возле него дежурят ночи напролет с ведрами и тряпками, собирают слезы из его клетки и выливают в канализацию, потому что если этого не делать, их наберется столько, что в них утонут и люди, и животные. Соседка Амалия клялась, что Руфи о цирке не рассказывала, но ведь если это не она, кто тогда вообще мог рассказать ей, что такое цирк и кто такой слон.

Они сели за кухонный стол, когда мама Ивка уложила и убаюкала Руфь, а папа Мони взял лист бумаги и чернильную ручку, лизнул ее кончик и принялся записывать имена тех, с кем девочка разговаривала с того дня, как в город прибыл цирк «Империи»:

1.
Соседка Амалия
2.
Сосед Радослав

3.

Авраам Зингер (Мони не назвал его ни дедулей, ни дедушкой, ни дедом, как обычно называла его Руфь, и ни папой, как обычно называли его и он, и Ивка, а написал полное имя и фамилию, что выглядело как-то угрожающе)

4.

Госпожа Штерн (женщина, помогавшая Аврааму по хозяйству, молчаливая вдова с головой, всегда покрытой, как это требовалось у евреев)

На пункте четыре они остановились и долго раздумывали, и вспоминали, куда они Руфь водили и с кем наедине оставляли, однако дальше дело не шло. Ивка наперед знала, что пункта пять просто не существует; люди – это не использованные спички, чтобы их так быстро забыть, а особенно такие люди, которые разговаривают с четырехлетней девочкой, но, несмотря на это, она продолжала обсуждение как только могла долго. Она наслаждалась тем, что теперь, спустя долгое время, могла разговаривать с Мони о том, что происходило вокруг них и что они вместе пережили, и при этом он теперь не морщился и не бегал глазами по кухне, не был хмурым, так же как не были хмурыми эти последние месяцы, – скоро уже полгода с тех пор, как он сидит дома, не уходит по вечерам и не возвращается рано утром, он здесь, рядом с ней. Молчаливый и озабоченный, серый, как стена, его мучает желчный пузырь, и он согнут, как вопросительный знак, и желтый, как страница Торы, он всегда здесь и впервые принадлежит ей.

Она его обняла, отчего Мони вздрогнул, а потом окаменел, будто почувствовал потрясение.

Но и это хорошо, дорогой мой, хорошо, когда страхи меняются, и теперь Ивка больше не боится, что тебя кто-то изобьет при возвращении домой, а боится за твой желчный пузырь и заваривает тебе чай, ах, эти безвкусные и горькие чай из восточных стран, которые привозят к нам через горы и реки и которые вызывают в воображении грязь, болезни и смерть. Мони каменел в объятиях жены, словно собираясь превратиться в памятник на Зриневце, а ей тогда казалось, что все, что было раньше, лишь привиделось, как плохо застеленная постель перед сном и южный ветер, юго, который приносит вонь городской канализации; все, что было до вчерашнего вечера, – это многолетний южный ветер и вечная постель. Сейчас это миновало и начинается жизнь, обещанная ей, когда она выходила замуж.

Они забыли о своем расследовании и больше не думали о том, кто забил голову Руфи цирком. Хотя догадаться было совсем не трудно. Амалия кормила Руфь фасолью и перловкой, разрешала ей залезать на спинки стульев и смотреть на мир вверх ногами, и она же ей рассказывала о цирке, этом волнующем и неприличном месте, которое Амалии казалось еще более фривольным, чем духовникам и вероучителям, стоявшим на посту перед шатром. В цирке она никогда не была, но живо представляла себе влюбленных акробатов на трапеции, которые пролетают над бездной, на другую ее сторону и попадают в мускулистые руки смуглых любовников, в воображении Амалии всех без исключения, как египтяне из народных песен, чья кожа пахнет корицей, мускатным орехом, гвоздикой и всеми теми греховными ароматами, от которых ее охватывал стыд, потому что ей казалось, что весь мир знает, какие мысли приходят ей в голову, пока она их нюхает. Она представляла себе глотателей огня и жонглеров, укротителей диких зверей и гуттаперчевых женщин, вот только клоунов она совсем не понимала. Кто они, эти люди, которые зарабатывают себе на жизнь тем, что весь мир считает их придурками?

Она рассказывала Руфи о цирке и тем самым подбивала пойти на цирковую площадь на улице Драшковича и хотя бы издали посмотреть на то, о чем сама мечтала еще с тех пор, как вышла замуж и Раде привез ее в Загреб. Каждый год, весной и осенью, преподобный Нико Азинович произносил проповеди против цирка. Ополчался на дрессированных животных и их хозяев-безбожников, слишком громкую цирковую музыку и туземные барабаны, описывал блуд, распространенный среди цирковых артистов, которому они предавались и в железнодорожных вагонах, и в шатрах, а возможно даже, и в клетках, среди животных. Дон Нико говорил обо всем этом столь живо, что можно было подумать, будто он и сам работал циркачом, до того как обратился и пошел по стезе Господней. Проповедовал он и против варьете, оперы, профсоюзных деятелей и коммунистов, против мадьяронов, австрофилов и врагов монархии, а также против онанистов, звукового кино, азартных игр, пьяниц, женских шляпок, людей, выбрасывающих хлеб, детских игрушек, интересных книг, цыган, которые ни во что не верят, евреев,

которые обманывают бедняков процентами, и магометан, которым турецкое говно милее друзей-христиан, а как-то раз он произнес проповедь и против метеорологов, ибо лишь Бог может знать, будет ли завтра дождь. Но регулярны были только проповеди против цирка: из года в год, в одно и то же время, как только по городу расклеивали цирковые афиши. И вместо того чтобы подавить у Амалии желание увидеть акробатов и лилипотов, глотателей огня и бородастых женщин, это только усиливало ее жажду совершить такой грех и пойти в цирк. Дважды в год она собиралась сделать это, но всякий раз от такого намерения отказывалась, и так проходила ее молодость, без этого мелкого греха, который даже дон Нико не считал слишком большим, однако для нее он оставался недоступной радостью жизни. Той весной, когда Амалия носила Антуна, ту свою материнскую тоску и горечь, она попросила Раде сводить ее в цирк. Он хохотал и обнимал ее, он буквально задыхался от смеха, он раздумялся, на губах его выступила слюна, и он тогда показался ей отвратительным из-за того, что смеялся над ее желанием, и она рассердилась и потом целый день не хотела с ним разговаривать.

– Другие, когда беременны, требуют жареные баклажаны, ликер из бобов рожкового дерева или камень со дна моря, а ты, голубка моя, хочешь пойти в цирк.

Она рассердилась так, что эти слова не смогли бы ее не задеть, даже если бы она вспомнила их через много лет.

Амалия богохульствовала над тем, что угодно Богу, но ей казалось, что ее богохульство мелкое и может Богу понравиться, – девочка прыгала на оттоманке, как на батуте, подражала воздушным гимнасткам и силачам, поднимающим гири, самым сильным на свете людям, и иногда от большого напряжения пукала, что вызывало у публики дополнительное веселье. Амалия начинала аплодировать и тоном ведущего цирковое представление восклицала, что вот слышатся звуки иерихонских труб и дальше последует номер с леопардами, главный номер нашей сегодняшней программы. Тут Радо-Ядо приносил одноглазого котенка тигровой расцветки, которому было не больше двух месяцев и которого он спас от собак на вокзале в Новской и принес домой, на Гундуличеву, чтобы тот при игре в цирк выступал в роли домашнего леопарда.

Руфь тогда засовывала котенка в птичью клетку и сперва кланялась тете Амалии, потом Радо-Ядо и только потом шкафу, где висели пальто, а под конец и плите:

– О человек, праведник, единственный слуга Божий, если хочешь Божьим быть, делай добро при жизни, почитай брата старшего, и тебя почитать будут твои младшие. В счастья не заносись, а в несчастья не стыдись, да не зарься на чужое, – декламировала Руфь слова, которым научилась у Радо-Ядо, а потом перед последней строфой напрягалась и нахохливалась, будто воробей, который делает вид, что он Королевич Марко⁴⁰, и выкрикивала, точно так же, как это делал и Ядо, когда его не понимали, а он тогда сердился:

– Ибо человек-праведник, когда к нему смерть приходит, ничего с собой не уносит, лишь скрещенные руки белые и дела свои праведные.

Произнеся это, Руфь торжественно выпускала котенка из клетки, и он убежал под оттоманку и не вылезал оттуда, пока все не забудут про домашний цирк.

Потом проходила среда, или проходила пятница, и наступали все те четверги и воскресенья, все эти крикливые и истеричные субботы – только бы папа не услышал, как мы говорим о шаббате, у него бы сердце остановилось, когда Руфь надоедала маме Ивке и папе Мони, который никак не мог научиться прикрикивать на Руфь, а мама Ивка его все время в это тыкала носом и заставляла их играть с Руфью в цирк. Они пытались, но не знали, как это делается, к тому же не было и страшного одноглазого леопарда, и все заканчивалось слезами и обещаниями, что в один прекрасный день, когда она еще немного подрастет, они поведут ее в настоящий цирк. После этого Руфь переставала плакать, но появлялась новая проблема, потому что

⁴⁰ Королевич Марко – герой эпоса южных славян, народный защитник и борец против турецких поработителей.

она не забывала их обещаний, как обычно такое забывают дети. Она их помнила, все до одного, собирала и распределяла, как в канцелярской регистрационной книге, и по обещаниям повести ее в цирк училась считать. Когда она научилась считать до двенадцати, Ивка расплакалась. Мони, сам не свой, ломал пальцы и пытался что-то сказать, но вдруг выяснилось, что больше нет такой лжи, в которую девочка могла бы поверить или которая не превращалась бы в еще одно обещание.

В конце концов не оставалось ничего другого, кроме как вести Руфь в прославленный «Имперо».

А кто ее поведет? Они могли бы отправиться все вместе, но что будет, если их кто-то увидит? Вместо того чтобы пойти с ребенком на кукольный спектакль «Как маленький Арон перехитрил страшного волка», или в спортивный центр «Конкордия» посмотреть на гимнастику членов спортивного общества «Маккаби», или вместе с гостями из сараевской «Ла Беневоленции»⁴¹ поехать на целый день с экскурсией в замок Тракошчан, Соломон Танненбаум и жалкая дочь Зингера отправляются в цирк.

⁴¹ Еврейское культурно-просветительное общество, центральная культурная организация евреев Боснии и Герцеговины (БиГ).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.